



ЕВРОПЕЙСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Дмитрий Травин

Франция: успешная страна  
на пути к провалу  
(Россия Нового времени:  
выбор варианта  
модернизации. Доклад 2)

Препринт М-74/19

**Центр исследований  
модернизации**



Санкт-Петербург  
2019

Т 65     **Травин Д. Я.**

**Франция: успешная страна на пути к провалу** (Россия Нового времени: выбор варианта модернизации. Доклад 2) / Дмитрий Травин : Препринт М-74/19. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. — 72 с. — (Серия препринтов; М-74/19; Центр исследований модернизации).

В XVII–XVIII веках Россия как периферийная европейская страна вынуждена была модернизироваться, заимствуя зарубежные институты. В цикле, состоящем из трех докладов, рассматривается вопрос о том, какие образцы для развития могла «предоставить» нашей стране Европа в Новое время и что в конечном счете определяло выбор стоящей на распутье России. Второй доклад цикла посвящен истории относительного успеха Франции (а также в меньшей степени — Пруссии и Швеции) в строительстве армии, развитии госаппарата и формировании фискальной системы. От анализа ситуации, сложившейся на Западе в XVII–XVIII веках, автор переходит к исследованию петровских преобразований в России, демонстрируя, что они были в соответствии с зарубежными образцами нацелены вовсе не на модернизацию страны в современном понимании этого слова, а на милитаризацию и связанную с ней бюрократизацию. Таким образом, Россия в своем движении на Запад следовала не англо-голландской модели, рассмотренной в первом докладе данного цикла, а франко-шведской.

*Информация об авторе:* Травин Дмитрий Яковлевич — кандидат экономических наук, научный руководитель Центра исследований модернизации (ЕУСПб); [dtravin61@mail.ru](mailto:dtravin61@mail.ru).

— По какому же поводу дерешься ты, Атос? — спросил Арамис.

— Право, затрудняюсь ответить, — сказал Атос. — Он больно толкнул меня в плечо. А ты, Портос?

— А я дерусь просто потому, что дерусь, — покраснев, ответил Портос.

Александр Дюма. «Три мушкетера» [Дюма 1952: 54]

В этой знаменитой беседе трех мушкетеров, собирающихся сразиться с д'Артаньяном, больше смысла, чем может показаться на первый взгляд. Герои XVII века дерутся... просто потому, что дерутся. И затрудняются объяснить причины. Они ведь, по сути дела, воспроизводят образ жизни своих государей, постоянно воюющих друг с другом... просто потому, что таков их образ жизни. Государство не может не воевать, или, по крайней мере, не готовиться к войне. Ведь излишне миролюбивого государя сосед наверняка «толкнет в плечо». Не только для России, но и для других европейских стран подготовка к войне — это самое главное. Стремясь объяснить финансовые реформы, торговую политику или административные преобразования, нам следует исходить из того, что государственные деятели XVII–XVIII столетий всё меряют тем, насколько полезны их действия для армии и флота.

## Загадка Петра Великого

«Великий Петр был первый большевик, / Замысливший Россию перебросить, / Склонениям и нравам вопреки, / За сотни лет к ее грядущим далям. / Он, как и мы, не знал иных путей, / Опрочь указа, казни и застенка, / К осуществленью правды на земле». Так оценил результаты деятельность Петра I Максимилиан Волошин в 1924 г., когда итоги многолетнего развития страны казались поистине катастрофическими. Поэт нарисовал ужасающую картину мерзостей, буквально пропитавших российскую почву за те 200 лет, которые отделяли эпоху Петра от эпохи большевизма. Но можем ли мы сегодня сказать, что петровские преоб-

разования действительно были революцией, осуществленной «нравам вопреки» ради того, чтобы разом преодолеть накопившееся отставание в сотни лет? Или же лучше придерживаться традиционных взглядов о позитивных изменениях, проведенных в жизнь Петром I с помощью нестандартных (причем порой очень жестких) мер?

Отдавая дань художественным достоинствам волошинских строк, приходится заметить, что в приведенной выше небольшой цитате содержится сразу четыре ошибки. Во-первых, Петр не был утопистом, задумавшим перебросить Россию к «грядущим далям». Во-вторых, он вовсе не стремился к «осуществленью правды на земле». В-третьих, он хоть и действовал вопреки консервативным нравам части общества, но зато опирался на уже сложившиеся нравы другой его части — той, что стремилась к переменам. А в-четвертых, казни и застенки при всей их очевидной значимости для петровской политики лишь дополняли военные, фискальные и организационные мероприятия, составлявшие суть преобразований.

Но можно ли сказать, что если Петр не был большевиком, то, значит, он был модернизатором? И в этом утверждении, увы, имеются существенные натяжки. Официальная позиция, давно закреплённая в виде разных монументов, топонимики и школьных учебников, сильно противоречит современным представлениям о модернизации и о способах, которыми можно преодолевать отсталость. Петр как модернизатор явно не вписывается в теорию модернизации [о сути данной теории см. Травин, Марганя, 2004: кн. 1, гл. 1; Травин 2019].

С одной стороны, мы имеем представления о Петре и «птенцах гнезда Петрова» как о крупнейших реформаторах, повернувших нашу страну в западном направлении и буквально заставивших Россию догонять страны, ушедшие ранее вперед. Данная позиция, сложившаяся еще в имперский период [Соловьев 1984], не была поколеблена ни в сталинскую эпоху [Мавродин 1988], ни в брежневскую [Павленко 1975; Павленко 1983]. Более того, в народных преданиях и в сказках Петр обычно выступает как добрый, справедливый государь, заботящийся о русских людях [Петр Великий 2000: 164–268]. И лишь недавно Евгений Анисимов в одной из своих книг остро поставил вопрос о неоднозначности петровского наследия [Анисимов 2017].

Несмотря на антимонархический пафос марксизма, в СССР Петра Великого чтили, пожалуй, не меньше, чем в царской России. Просто он сделал полшага назад, отдав первое место среди отечественных государственных деятелей Ленину (а до 1956 г. и Сталину). При этом в пост-

советский период Петр вновь уверенно вышел вперед, став ключевой символической фигурой России и взгромоздившись на пьедесталы многочисленных памятников. А в романе Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим» царь даже был подан ярким, любознательным инноватором — своеобразным предшественником физиков-шестидесятников, о которых писатель рассказывал в своих ранних произведениях [Гранин 2005].

С другой стороны, содержание западного крена в петровской политике совершенно не соответствует нашим сегодняшним представлениям о том, как следует осуществлять модернизацию. Очевидно, что для Петра не существовало демократии. И хотя торговлю он любил, его деятельность вряд ли сильно способствовала развитию рыночного хозяйства России. Несвобода препятствовала нормальному функционированию экономики. Поэтому российские институты в XVIII веке, несмотря на все усилия Петра, качественно отличались от институтов таких успешных стран, как Англия и Голландия. А вместе с институтами отличались и результаты развития.

Возвеличивание Петра, осуществлявшееся при Екатерине II, обернулось появлением первого памятника императору — «Медного всадника». Но характерно, что в то же время ближайшая сподвижница императрицы княгиня Екатерина Дашкова в своих «Записках» скептически оценивала Петра, отмечая, что «он был совершенно невоспитан, и его бурные страсти возобладали над его разумом. Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными все терпеть; его невежество не позволяло ему видеть, что некоторые реформы, насильственно введенные им, со временем привились бы мирным путем в силу примера и общения с другими нациями» [Дашкова 1985: 127]. Примерно в том же ключе, что и Дашкова, писал о России М. Волошин. А скульптор Михаил Шемякин представил Петра в виде жуткого монстра, не имеющего ничего общего с величественным героем Фальконе.

Теоретическое обоснование концепции «петровского большевизма» дал Николай Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма». Он отметил, что «созданная Петром империя внешне разрасталась, сделалась величайшей в мире, в ней было внешнее принудительное единство, но внутреннего единства не было, была внутренняя разорванность. Разорваны были власть и народ, народ и интеллигенция, разорваны были народности, объединенные в российскую империю» [Бердяев 1990: 13–14]. Словом, Петр своим резким, «революционным» рывком вперед не столько содействовал развитию страны, сколько породил противоречия, с которыми ни он, ни его наследники так и не сумели совладать. Волошин

образно выразил это следующим образом: «Россию прет и вширь и ввысь — безмерно. / Ее сознание уходит в рост, / На мускулы, на подержанье массы».

Трудно не замечать этой проблемы. Следует признать, что при анализе петровских преобразований мы сталкиваемся с серьезным противоречием. Великий «модернизатор» отнюдь не модернизировал страну теми методами, которые мы привыкли считать характерными для современного Запада.

Заимствование западной культуры при Петре, конечно, имело место. Но заимствование какое-то странное. Петр «импортировал» методы ведения войны, способы построения армии и флота. Он активно содействовал трансформации образа жизни элиты, прививая насильно западную одежду, потребление характерных для западного стола продуктов и напитков, курение табака, бритье бород, а также буйные формы развлечений, столь расходившиеся с патриархальным российским бытом допетровских времен. Петр резко сдвинул на Запад государственную столицу, применив для строительства Петербурга столь тиранические методы, какие редко применялись при строительстве городов на Западе. Парадокс состоит в том, что для создания нового русского делового центра Петром Великим было использовано примерно такое же насильственное переселение людей, какое Иван III использовал для разорения средневекового делового центра — Новгорода.

Вместе с тем все то, что по-настоящему содействовало развитию экономики и формированию бюргерской культуры в Европе, Петр игнорировал. Он в первую очередь игнорировал свободу. Если принимать во внимание одни декларации, то российские западники должны быть благодарны царю-реформатору, должны считать его первым отечественным европейцем, стремившимся порвать с косностью. Если же принимать во внимание конкретное содержание петровских преобразований и особенно методы их проведения, то, скорее, консерваторы, а вовсе не сторонники модернизации, должны считать Петра человеком, близким себе по духу.

В общем, получается противоречие, выбраться из которого трудно, если считать Запад неизменным и если полагать, что в основе западной культуры веками лежали именно те ценности, которые отличают его сегодня, — свобода, толерантность, защита прав собственности и прав человека. Но если мы вместо мифического, «правильного» Запада, возьмем для анализа реальный мир, существовавший в XVII–XVIII веках, многое встанет на свои места. И мотивация петровских преобразований перестанет быть загадочной. Мы сможем понять государственного дея-

теля, который стремился изменить Россию на западный манер и в то же время совершенно не стремился, казалось бы, к столь характерным для Запада свободе, защите прав личности и собственности [о реальном отношении к собственности см. Травин 2013: 37–54; об отношении к закону — Травин 2014: 13–18].

Итак, для поиска той модели, которая лежит в основе петровских преобразований, нам надо отправляться на Запад. Понятно, что нельзя обойти вниманием Швецию, у которой Россия непосредственно училась в бою. Но небольшая, малозаселенная Швеция не могла стать страной, радикально меняющей европейские институты XVII века. Перемены пошли не из Стокгольма, а из Парижа. И Петр, по всей видимости, это хорошо понимал. Существует рассказ о том, как он посетил гробницу Ришелье. Подойдя к памятнику, русский царь воскликнул: «Великий человек, будь ты сегодня жив, я сразу отдал бы тебе половину своей империи, при условии, что ты научишь меня, как управлять другой ее половиной» [цит. по Кнехт 1997: 354].

Именно Ришелье по-настоящему четко сформулировал то, что волновало Петра. «Всегда считалось, что финансы — это нервы государства, и воистину они являются той архимедовой точкой опоры, которая служит надежным фундаментом для того, кто вознамерился перевернуть мир», — так писал он в своем «Политическом завещании» [Ришельё 2008: 280]. Кардинал и впрямь переворачивал мир, формируя французское государство с армией, способной побеждать, и бюрократией, способной поддерживать армию. А потому начинать ему пришлось именно с финансов.

Логике действий Ришелье можно представить, если обратить внимание на своеобразный рейтинг того, чем, по мнению автора «Политического завещания», может быть силен король. На первом месте идет репутация. Наверное, если бы у всех монархов репутация была идеальной, всего остального бы не понадобилось. Но даже на самых лучших королей, как известно, нападают соседи, полагающие, что либо он не вполне легитимен, либо присвоил чужие территории, либо нарушает сложившийся баланс сил. Поэтому, кроме репутации, монарху нужна армия. Для армии нужны деньги. И лишь на последнем месте из четырех находится власть короля над сердцами подданных [там же: 240].

Верна или неверна легенда о посещении Петром гробницы Ришелье, но надо признать, что у этих людей было много общего. Причем не только в политике. Неуравновешенность и сильная психическая возбудимость русского государя хорошо известна. Более того, на Петра иногда

нападали болезненные судороги, пугавшие окружающих [Гордин 2018: 404]. Однако некоторые отклонения имелись, по всей видимости, и у Ричелье: четыре члена его семьи были признаны полупомешанными, а сам кардинал, «если верить Телеману де Рео, иногда воображал себя конем» [Блюш 2008: 21]. Возможно, для того чтобы взять на себя риск осуществления столь больших и опасных перемен, надо было быть человеком «со странностями»?

## Деньги, деньги и еще раз деньги

Столетняя война, долгое время складывавшаяся для Франции крайне неудачно, послужила стимулом для осуществления важных перемен в деле построения государства. Неспособность побеждать в сражениях с англичанами при помощи старого феодального войска заставила французскую монархию выстраивать армию на новых принципах. Вместо вассалов, служащих за право пользования землей, появились наемники, служащие за деньги [Травин 2015: 23–28].

Формирование института профессиональной наемной армии решило проблему боеспособности, но породило иную проблему — финансовую. Если раньше основным ресурсом, обеспечивающим жизнь государства, была земля, раздаваемая вассалам за службу, то теперь таким ресурсом становились деньги. Раньше серебро и золото использовались лишь в качестве дополнительного поощрения сражающихся за короля рыцарей или как средство усилить свою армию иностранным воинским контингентом (например, генуэзскими арбалетчиками). Теперь же без благородных металлов не вертелись уже никакие армейские «шестеренки». Есть деньги — есть армия, нет денег — нет армии. Когда Людовик XII, собравшийся воевать в Италии, спросил знаменитого кондотьера Джана Джакомо Тривульцио, что нужно для победы, тот ответил, что три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги [Ardant 1975: 164].

По ходу Столетней войны деньги худо-бедно собирались, но каждый раз это была мука. Война велась в виде отдельных походов, и каждый раз на новый поход отдельно решался вопрос о его финансировании. Фискальная система той эпохи была больше похожа не на современную фискальную систему, в которой закон устанавливает бессрочные обязательные платежи для всех плательщиков, а на инвестирование средств в конкретный проект. «Каждый налог представлял собой единое целое со своим названием, своей суммой, своей датой» [Фавье 2009: 571].



Тем переломным моментом в ходе Столетней войны, когда начала формироваться новая финансовая система, стал 1439 г. Именно тогда король получил от французской аристократии разрешение на взимание первого общенационального налога — тальи. Через год так называемая «солдатская талья» превратилась в постоянный денежный сбор с населения [Андерсон 2010: 81].

Для того чтобы договариваться с обществом, король пошел на созыв Генеральных Штатов. Но, получив согласие сословий на сбор тальи, монархия перестала их созывать. Объяснили это, как принято и сегодня, необходимостью экономии средств, просьбами народа и заботой о бедных [Фавье 2009: 572].

Правда, именно бедные в основном и платили. Приехавший во Францию в 1465 г. английский канцлер Фортеस्कью с изумлением отметил «чудовищную, по его мнению, тяжесть государственных налогов на крестьян, превосходящую сеньоральные платежи в 5 раз. <...> А ведь это было лишь начало правления Людовика XI. Через 15 лет, к 1480-м годам, одна лишь талья увеличилась более чем в 2 раза, не говоря о прочих налогах. Можно сказать, что ни в одной стране Европы, — делает вывод историк Александра Люблинская, — не существовало в конце XV века столь тяжелого для крестьян гнета государственных налогов» [Люблинская 1959: 19].

И вот, казалось бы, все стало хорошо для монархии. Есть деньги, есть армия и есть некоторая свобода рук. Ослабевшая на фоне усиления монархии аристократия не может оспаривать власть у короля. Людовик XI «один имеет постоянное войско и получает постоянные подати, для сбора которых не приходится уже каждый раз испрашивать особого согласия. <...> Кто имел деньги, тот имел пушки, а кто имел пушки, тот имел деньги. Пушка <...> диктовала Франции законы абсолютной монархии» [Анотто 2017: 83]. Впрочем, перефразируя известное выражение, можно сказать, что пушки помогают монархам во многих делах, но сидеть на них неудобно.

Чрезвычайная важность укрепления государственного бюджета, конечно же, признавалась обществом, но надо понимать, что между финансовой системой раннего Нового времени и современной финансовой системой существует качественное различие. В то время необходимость платить налоги рассматривалась лишь в связи с войной, а не в связи с существованием государства как таковым.

Многие полагали, что если война завершилась, то король вполне может жить «на свои». Постоянная финансовая поддержка монархии обществом не признавалась необходимой, поскольку у государства не было

в отношении общества постоянных обязательств. Государство не имело программ социального обеспечения, не формировало инфраструктуру, поддерживающую бизнес, и даже не отвечало за поддержание порядка на всей своей территории. Эти функции появились значительно позже. Главное, чем занимался король, — он вел войны. И если общество признавало, что война ведется и в его интересах, оно соглашалось на взимание налогов. Именно так объединялись усилия государства и общества в их единственном для того времени совместном деле. Соответственно, когда война заканчивалась, платить налоги было необязательно. Или, во всяком случае, фискальное бремя в мирное время могло рассматриваться как нечто нежелательное.

«Важный недостаток королевской армии вытекал из самого основного принципа ее организации. Она была наемная; все в ней держалось на деньгах. <...> В военное время солдаты нужны во что бы то ни стало, и страну обременяют внезапными и невыносимо тяжелыми налогами. В мирное время король, постоянно стесненный в деньгах, распускает свои войска; солдаты остаются не у дела, разбиваются на отдельные шайки и рассеиваются по всей стране. Они тогда естественно становятся очень удобным материалом для разных искателей приключений и рыцарей большой дороги, занимающихся грабежом» [Анотэ 2017: 103].

Таким образом, сам факт формирования фискальной системы еще не означал принципиального поворота в деле государственного строительства. Он лишь качественно трансформировал строительство военное. Государство же могло выглядеть совершенно различно в зависимости от того, идет ли серьезная война, или на дворе — мирное время. Во времена мира значительную часть наемников распускали, и жизнь становилась как будто бы старой: общество налоги не платит, король живет «на свои». А когда вновь возникала потребность аккумулировать средства для противостояния соседям, все усилия по налаживанию контактов в системе «власть — общество» приходилось предпринимать заново. Причем проблема здесь была не только политической, но еще и административной. Налоги требовалось не только согласовывать с влиятельными группами интересов, но и собирать. Сбор этот трудно было осуществить без специального государственного аппарата и четкого понимания того, кто, как, за что и в какой мере должен раскошелиться. Как справедливо отмечал исторический социолог Перри Андерсон, «Столетняя война завещала, таким образом, французской монархии постоянную армию и налоги, но не гражданскую администрацию в масштабах государства» [Андерсон 2010: 82].

Окончание Столетней войны и смерть сильного короля Людовика XI создали во Франции противоречивую ситуацию. С одной стороны, армия нового типа уже существовала, и это доказало ее успешное вторжение на Апеннины в ходе Итальянских войн. Однако финансы не поспевали за армией. Постоянных доходов хватало королю лишь на содержание небольшой постоянной армии. «Хрупкое равновесие нарушалось, как только численность войск возрастала. Поэтому вопрос о достаточности или недостаточности “обычных” доходов являлся частью гораздо более крупной проблемы о войнах абсолютистской Франции» [Люблинская 1982: 54].

Карл VIII, наследовавший трон за Людовиком XI, умирал весь в долгах. Дело в том, что он не слишком обременял поборами своих налогоплательщиков. И при его преемнике Людовике XII налоговое бремя остается значительно менее высоким, чем то, которое существовало двумя десятилетиями раньше. Не то чтобы новые короли были слишком уж добрыми. Скорее, проблема сводилась к комплексу объективных обстоятельств. Деньги просто не удавалось собрать в казну: слишком уж велики были налоговые освобождения для дворянства и целого ряда городов. А при Франциске I финансовая ситуация в стране стала совсем плохой. Особенно после понесенного от испанцев поражения под Павией, пленения короля и необходимости внесения большого выкупа. Чтобы найти козлов отпущения, стали казнить крупных финансистов, но это не помогало [Ле Руа Ладюри 2004: 111, 115, 164].

Французские солдаты в такой ситуации могли запросто переходить даже к непосредственному противнику. В наемных армиях подобное поведение было распространено. В том числе потому, что наемники часто происходили из третьих стран. «Через полгода после смерти Генриха II (конец 1559 г. — *Д. Т.*) сразу полторы тысячи французских солдат и дворян отправились на Сицилию служить королю Испании» [Мандру 2010: 145]. И это неудивительно, поскольку у испанского монарха имелось благодаря американскому серебру достаточно денег для развития вооруженных сил. В середине XVI столетия испанская армия примерно в три раза превышала французскую по количеству солдат, тогда как во времена Людовика XI численный перевес был еще у Франции [Кеннеди 2018: 101].

Для того чтобы у французов произошел качественный перелом в государственном строительстве, потребовался внешний вызов, превышающий по значению вызов Столетней войны. Такой перелом принес на своих крыльях «черный лебедь», если воспользоваться популярной ныне терминологией Насима Талеба [Талеб 2015]. Подавляющее превосходство Испании (ставшей главным военным соперником Франции, начиная

с Итальянских войн) в финансах, связанное с поставками серебра из колоний, заставило искать адекватный ответ<sup>1</sup>. Причем искать его приходилось в совершенно иной области. Франция не обладала колониями, столь же богатыми месторождениями благородных металлов, как испанские. «Колонии ее были в ту пору невелики и малолюдны, по масштабам внешней торговли она отставала не только от Голландии и Англии, но и от Испании» [Люблинская 1982: 109–110]. По данным великого историка Фернана Броделя, бюджет французского короля Генриха IV составлял 5 млн золотом, тогда как бюджет одной лишь Кастилии в конце XVI века (не считая других земель испанской короны) — 9 млн [Бродель 2003: 129].

В какой-то мере французы могли использовать для пополнения казны пиратство, военный грабеж и контрибуции [Мандру 2010: 200–201]. Но этого не доставало. Особенно при военных поражениях. Поэтому требовалось использовать иные ресурсы. Нужно было искать те естественные преимущества, которые есть именно у Франции в сравнении с Испанией и другими европейскими странами.

Поскольку страна была многонаселенной, возникла идея, что обирать следует не колонии, а собственный народ. И вот в 1542 г. король учредил должности 16 генеральных сборщиков налогов [Ле Руа Ладюри 2004: 166]. Фискальную сферу попытались поставить на профессиональную основу. О серьезности намерений говорили народные бунты, которые, правда, удалось легко подавить.

Тем не менее для покрытия дефицита бюджета пришлось с 1522 г. активно прибегать к заимствованиям [Андерсон 2010: 85]. Об ажиотаже, связанном с вложением денег в долг короля Генриха II в 1555 г., один современник писал: «Одному Богу ведомо, в какое возбуждение людей приводила жажда этих непомерных прибылей: все сбежались сюда, чтобы разместить свои деньги в *grand parti*, включая даже простых слуг, притащивших свои сбережения. Жены продавали украшения, вдовы отдавали свои пенсии, чтобы поучаствовать в *grand parti*, короче, все неслись туда, как на пожар» [цит. по Зомбарт 2008: 258].

К концу 1550-х гг. размер государственного долга в три раза превышал размер годового бюджета. Обслуживать этот долг удавалось лишь за

---

<sup>1</sup> На то, насколько важно для понимания европейских событий начала Нового времени влияние разных стран друг на друга, обратил внимание в нашей стране еще известный историк Борис Поршневу [Поршневу 1970]. Но он не ставил вопроса о том, как серебро, прибывающее из-за океана в Испанию, стимулировало трансформацию экономической политики во Франции.

счет итальянских финансистов, обосновавшихся в Лионе [Ле Руа Ладюри 2004: 178].

Помимо налогов и займов, третьим способом нахождения денег для расширения армии стала продажа чиновничьих должностей. Формально он был самым простым. Король продавал желающим то, что, казалось бы, ничего ему не стоило. При этом спрос на должности был достаточно высок по двум причинам.

Во-первых, такое вложение денег давало постоянный доход. Жалование чиновников, как правило, было невелико, но дополнительные денежные поступления, связанные с отпращиванием должности (поборы за оформление любого акта), приносили высокий процент на вложенный капитал [Люблинская 1959: 63]. Например, в Бретани существовала должность инспектора по кожам, которые производили местные скотоводы. Вся продукция должна была проходить обязательную проверку, а инспектор получал за нее деньги [Адамс 2019: 282]. «Ранние бюрократии были больше похожи на огромные частные корпорации искателей ренты, чем на государственную службу», — справедливо отмечает социолог Вадим Волков [Волков 2018: 82], и этот вывод вполне можно отнести к Франции XVI–XVIII столетий.

Во-вторых, для богатых людей из простонародья такого рода инвестиции представляли собой покупку статуса, социального положения и в известной степени безопасности, определяемой сословными привилегиями. «Если есть на свете презрение, то оно относится к купцу», — так говорили про отношение французской аристократии к бизнесу в XVI веке [Зомбарт 1994: 110]. Естественно, купцам это не нравилось. Они изыскивали возможности уравнивать свое материальное положение со статусом, и государство предоставляло им для этого шанс.

«Богатый, умный и активный буржуа не удовлетворялся своим статусом, но хотел стать дворянином и покинуть ряды простонародья. Буржуазия была скопищем конкурентов, терзаемых нестабильностью» [Мандру 2010: 152]. «Средства вкладывались в поместья и высокие придворные должности, за что последние прозвали “мылом для простолюдинов”. Земельная собственность и государственная служба доставляли семье положение в обществе и титул, а с ним многие из традиционных привилегий “дворянства шпаги”» [Питтс 2017: 26]<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> При этом, в отличие от Англии, аристократия во Франции не занималась бизнесом. «Если рожденный джентльменом обращается к торговле, — отмечал наблюдатель XVII века, — он теряет свое благородство» [цит. по Пинкус 2017: 132].

В общем, желание людей с капиталом приобрести должность стимулировалось всем образом жизни французов. Общество порождало спрос, а сильно нуждающееся в деньгах государство — предложение. Возможности, предоставляемые буржуазии продажей должностей, во многом обусловили отличие Франции от Англии и специфику французского исторического пути. Если в Англии образ жизни джентри сближался с образом жизни купцов и, более того, «сверху» к ним подтягивалась ослабевшая аристократия [Травин 2018б: 34–36], то во Франции разрыв между буржуа и дворянством увеличивался, а те, кто вырывался из мещан во дворяне, сближались по своим манерам и привычкам с теми, кто имел длинные родословные.

Еще в XV веке продавать должности любил Людовик XI, но другие короли (как до, так и после Людовика) этим делом не увлекались [Potter 2003: 32]. Все изменилось в следующем столетии. Продажа должностей была узаконена при Франциске I. То есть при первом же короле, столкнувшемся с испанской мощью и испытавшем на своей шкуре (он был пленен в битве при Павии), как плохо иметь слабое войско.

Формально должности в XVI веке можно было завещать наследникам, но государство мошенничало для того, чтобы продавать их по два раза. От умирающего чиновника требовали обязательно прожить 40 дней после оформления завещания. Если же бедолага недотягивал, документ аннулировался и должность продавалась вновь. Ушлые дворянские семьи для того, чтобы в свою очередь надуть мошенничающее государство, порой неделями не хоронили своих *pater familias*, засаливая их, как свинину, для предотвращения порчи тела [Мунье 2008: 250].

При Генрихе IV эту «свинскую практику» отменили. В 1604 г. государство стало брать с чиновников специальный ежегодный налог — полетту — за право свободно в любой момент передавать свои должности по наследству [там же: 251]. Доходы казны от этого возросли, но король утратил возможность повышать качество государственного аппарата даже по мере ухода старых чиновников в мир иной.

Возникла и другая проблема. Обычно чиновники платили за покупку должностей не только в казну, но и в карман тех персон, от кого зависело их получение. «Почти все финансовые операции в период регентства Марии Медичи сопровождались крупными взятками в пользу

---

Дворянство шпаги (особенно после религиозных войн) было малообразованным, плохо умело писать и не могло даже при желании претендовать на торговую или бюрократическую деятельность, требующую знаний [Мунье 2008: 245].

маршала (точнее, его жены). При каждой продаже придворных должностей супруга д'Анкара получала свой магарыч (pot-de-vin) и делила его с самыми родовитыми вельможами. Значительную часть своего огромного состояния Сюлли составил подобным же способом» [Люблинская 1959: 46]. Однако легализация рынка должностей разрушала старые клиентелы: у принцев и герцогов сокращались возможности покровительствовать своим людям, продвигая их на выгодные бюрократические посты. Старое дворянство, желавшее иметь синекуры, но не имевшее денег, чтоб их приобрести, лишалось «кормушек». Это формировало группы интересов, недовольные полеттой. Возмущение выразил, например, принц Конде — отец Великого Конде, попытавшегося через несколько десятилетий (во времена Фронды) отстоять эти интересы с оружием в руках [Мунье 2008: 316]. А тем временем и без того запутанная система администрирования усложнялась еще больше, поскольку ведущие государственные деятели Сюлли, Ришелье и Мазарини старались управлять страной, опираясь на собственные клиентелы. Они предоставляли должности своим людям, чтобы хоть от кого-то получить нужный результат. В какой-то степени история связанных с этим клановых конфликтов нашла отражение в знаменитой борьбе мушкетеров де Тревиля и гвардейцев кардинала, красочно описанной А. Дюма. Лишь к 1690-м гг. роль кланов заметно снизилась, поскольку сформировалась централизованная бюрократия, служащая не отдельным высокопоставленным лицам, а непосредственно королю [Птифис 2008: 36, 241].

Наконец, еще одной проблемой, возникшей в известной мере из-за продажи должностей, стал отток капитала «от мануфактур или торговых предприятий на ростовщическую игру с абсолютистским государством» [Андерсон 2010: 91]. Как отмечал исторический социолог Иммануил Валлерстайн, покупка должностей закрывала для французской буржуазии «путь инвестиций в промышленность. В Англии, напротив, аристократия ради собственного выживания должна была вкусить жизни буржуазии и частично с ней смешаться. Во Франции же было давление на буржуазию с целью выживания государства» [Валлерстайн 2015: 368].

Тем не менее нарастание проблем не перекрывало выгод. Спрос на чиновничьи ставки со стороны буржуазии был настолько велик, что даже при постоянном расширении предложения цены должностей быстро возрастали. «Однажды Людовик XIV спросил Поншартрена, своего министра финансов, как ему удастся находить новых покупателей должностей. Поншартрен ответил: “Ваше Величество... как только король создает должность, Бог создает глупца, готового ее купить”» [цит. по

Фукуяма 2015: 427]. «Если бы король Франции, — писал Луазо (французский юрист XVI–XVII веков. — *Д. Т.*), — возжелал присвоить все богатства своих подданных... ему стоило бы создать еще должности: каждый бы понес ему свои деньги, а те, у кого денег не было, продали бы свою землю; а тот, у кого и земли нет, продал бы сам себя... и согласился бы стать рабом, чтобы стать чиновником» [цит. по Мандру 2010: 151]. Конечно, и в истории с Поншартреном, и в высказывании Луазо содержатся очевидные преувеличения: расширяющееся предложение упирается рано или поздно в ограниченность спроса. Но приведенные выше цитаты дают нам представление о ментальной атмосфере Франции XVII–XVIII столетий, т. е. о том, к чему были устремлены те социальные слои, которые в Англии в то же самое время стремились зарабатывать себе деньги на товарном рынке<sup>3</sup>.

Вот каковы были масштабы возрастания торговли должностями. Если в 1515 г. во Франции имелся по меньшей мере 4041 обладатель купленных должностей из общего числа 5000 ставок во всем королевстве, то в 1665 г. таких должностей уже было 46 047 — примерно в 10 раз больше [Ле Руа Ладюри 2004: 28–29]. К 1620-м гг. продажа должностей приносила бюджету более трети всех его доходов [Андерсон 2010: 89]. Сформировался большой сектор своеобразного рынка услуг. «Должности воспринимались как собственность, в которую можно было инвестировать, возвращая инвестиции из соответствующего посту жалованья»<sup>4</sup> [Питтс 2017: 40].

Естественно, собственность в данном случае надо воспринимать как право, обладающее средневековой спецификой. Скажем, права на землю в то время были разделены между разными правообладателями (монар-

---

<sup>3</sup> Даже случайный список офисье, попавших в одно современное исследование, демонстрирует изобретательность бюрократического ума, способного породить множество должностей: президент Счетной палаты, докладчик Палаты прошений королевского дворца, генерал финансов и советник короля, генерал Палаты косвенных сборов, мэтр-казначей Дворца королевы, советник Большого королевского совета, ординарный мэтр счетов, генерал монет, контролер экстраординарных военных расходов, королевский нотариус-секретарь. Имяются также сержанты Шатле — пятеро конных, семеро — «с жезлами». И это все только парижские офисье. В списке провинциальных присутствуют прево, бальи, капитаны и шатлены крепостей, генеральный лейтенант, криминальный лейтенант, лейтенант по уголовным делам, а также сержант лесной стражи, сержант-смотритель заказника и прочие сержанты [Уваров 2004: 147–148, 155–156, 163, 169–170].

<sup>4</sup> Как из формальной, так и неформальной его части (т. е. из платы за услуги).



хом, крупными феодалами и их вассалами, крестьянами), каждый из которых имел право на что-то. С этой точки зрения у бюрократической должности было два совладельца — король, который ее создавал, и чиновник, который в нее инвестировал [Potter 2003: 34–35]. Монарх при определенных условиях мог ею распоряжаться, чиновник при определенных условиях мог ограничить право монарха передавать ее кому-то другому.

Должность, как любой товар, дорожала, если была дефицитной, или дешедела, если король создавал их слишком много, да к тому же не платил жалованье чиновникам из-за нехватки денег. Глядя в прошлое из XXI века, нам трудно представить себе, что же такое «перепроизводство должностей», но в XVII веке оно случалось постоянно. Государство, озабоченное получением дохода от продажи бюрократических постов, со времен Генриха II стало в целом ряде случаев нанимать сразу несколько чиновников для исполнения одной и той же функции. В итоге им приходилось исполнять обязанности поочередно (по годам, полугодиям или даже кварталам), и, соответственно, доходы каждого от поборов с населения сильно уменьшались. Иногда, чтобы избавиться от непрошенных компаньонов, чиновник сам выкупал все ставки, созданные для исполнения одной функции [Люблинская 1959: 67; Уваров 2013: 42]. Он становился, таким образом, дважды чиновником или даже трижды чиновником. Неудивительно, что при подобной «порче должностей»<sup>5</sup> доходность на вложенный в них капитал с годами снижалась [Potter 2003: 29].

Помимо гражданских должностей, король продавал также полковничьи и капитанские чины в армии. Перед началом военной кампании эти офицеры получали сумму денег на вербовку солдат. При этом организовать нормальный контроль за расходованием денег было невозможно. В полки записывались «мертвые души». Оправданием для растроченных денег являлось дезертирство. Капитаны зачастую не знали даже имен своих солдат — только прозвища [Глаголева 2007: 312–313]. Поди проверь: существовал в действительности какой-нибудь там Фанфан-Тюльпан, или деньги, выделенные на его содержание и обмундирование, просто украли офицеры.

---

<sup>5</sup> Используем это выражение по аналогии с так называемой порчей монеты, которой занимались короли, уменьшая содержание благородных металлов в деньгах и тем самым обесценивая их.

## Налоговый терроризм

Ясно, что рано или поздно французское государство должно было расширять роль налогов и сокращать значение продажи должностей, подрывающей эффективность госаппарата. Страшная угроза со стороны Испании, проявившаяся во время французских религиозных войн и борьбы Генриха Наваррского (будущего Генриха IV) за престол, стимулировала осуществление реформ.

Первым государственным деятелем, которому удалось более-менее навести порядок в финансах, был ближайший сподвижник Генриха IV герцог Сюлли [подробнее о нем Травин, Маргания 2011: 27–40]. Он уделил особое внимание косвенным налогам, навел некоторый порядок в откупах, устранил ряд незаслуженных фискальных льгот, вернул приносящие ренту королевские земли и сократил расходы. Доходы выросли с 1600 по 1610 г. более чем в три раза. Государственный бюджет пришел в состояние равновесия [Андерсон 2010: 88; Кеннеди 2018: 104; Мунье 2008: 225, 234–235]. Это было оптимальное условие для мирного развития государства, и с либеральной точки зрения именно Сюлли можно считать поистине выдающимся государственным деятелем. Однако Франция готовилась не к миру, а к войне, которой невозможно было миновать в XVII веке. Поэтому встал вопрос о необходимости выкачивать из страны гораздо большие суммы. А это уже требовало радикальных реформ.

Дело в том, что налоговая система представляла собой не четко сформулированные правила, а большой торг между нуждающимся в деньгах центром и не желающими платить регионами. В частности, талья (земельный налог) вообще не имела твердых ставок. Сначала определялась общая сумма, которую хотело получить государство, исходя из своих военных потребностей и представлений о возможностях налогоплательщиков, а затем она разверстывалась между подданными монархии<sup>6</sup>. При этом существовало множество разных изъятий. Казна сама продавала такие изъятия за круглую сумму [Люблинская 1982: 42]<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Например, карьера знаменитого финансиста Никола Фуке начиналась с того, что он был в 1644 г. отправлен в Дофине для контроля за местными чиновниками, а также для оптимальной разверстки тальи по городам и весям с целью максимизации налоговых поступлений [Питтс 2017: 36].

<sup>7</sup> Целые города могли приобретать освобождение от тальи для своих жителей [Питтс 2017: 57].

В большинстве регионов монарх мог уже не считаться с мнением своих подданных, поскольку его власть была твердой<sup>8</sup>. Но в некоторых (Бургундия, Бретань, Прованс, Дофине, Лангедок) — королевская власть, определяя конкретный размер талы, вынуждена была идти на компромисс с местными представительными собраниями, что, понятно, снижало общий размер поступлений. Необходимость компромисса здесь определялась в основном сравнительно поздним включением этих окраинных земель в состав единого государства. Чем более льготными были условия включения, тем меньше силовых акций требовалось для интеграции. Поэтому сбор налога там выглядел, скорее, как добровольный «дар» региона Парижу. И «дар» этот, естественно, не мог оказаться большим [Люблинская 1965: 236; Питтс 2017: 59].

Похожая история складывалась и с соляным налогом — габелью. Она была различна по размеру на прочно интегрированном Севере (зона большой габели) и на слабо интегрированном Юге (зона малой габели), а Гиень и Бретань были вообще свободны от нее [Люблинская 1982: 49]. Во время войны с императором и испанским королем Карлом V (1548 г.), когда казне очень нужны были деньги, габель попытались распространить на весь Юго-Запад, но вместо доходов получили восстание. В итоге Гиень откупилась от этого налога [там же: 50]. В Нормандии (северо-запад) существовали отдельные зоны, где габель не взималась. Когда ее ввели и там, началось народное восстание [Поршнев 1948: 336–337].

Довершали неразбериху сотни дополнительных поборов и тарифов. Утверждали, что только по одной Луаре их насчитывалось 120 [Хеншелл 2003: 21].

Кроме региональных различий, в налоговой системе имелись и различия сословные. Французское дворянство прямых налогов в казну не платило, хотя даже Ришелье считал, что обложить его надо, а полученные средства следует пустить на создание регулярных воинских частей [Ришелье 2008: 252]. Однако если дворянин становился торговцем или откупщиком, то лишался налоговых привилегий на срок своей коммерческой деятельности<sup>9</sup>. Таким образом, государство само стимулировало

---

<sup>8</sup> Формально король должен был советоваться с провинциальными штатами о сумме выплат, но на деле он мог их мнение запросто игнорировать [Мунье 2008: 237].

<sup>9</sup> Освобождение от налогов представляло собой дань старой традиции, согласно которой дворянство (в отличие от третьего сословия) платит кровью, защищая страну от врагов. Но Ришелье справедливо считал дворянское ополчение неэффек-

элиты страны не заниматься экономикой. На юге, где налоги в целом были ниже, дворяне в Средние века интересовались бизнесом, но к XVI столетию, когда фискальное бремя усилилось, этот интерес стал пропадать: слишком уж много приходилось платить за «удовольствие» зарабатывать коммерцией [Люблинская 1959: 53–54].

Вопрос о том, кого считать дворянином, был весьма нечетко определен, и это тоже становилось предметом торга между плательщиком и государством. «Барьер дворянского состояния преодолевали главным образом посредством судебного расследования, после простого выслушивания свидетелей, которые гарантировали, что данный человек “живет благородно”» [Бродель 1988: 488]. В XVI веке считалось, что если семья обладает феодем и на протяжении двух поколений не платит с него налоги, то это семья дворянская. Из чего следовало, что и дальше налоги можно, скорее всего, не платить. А если члены семьи на протяжении этих двух поколений еще и занимали должности на воинской службе, то шанс быть освобожденным от налогов резко возрастал [Блюш 2008: 25]. Только Людовик XIV в 1660-х гг. начнет всерьез бороться с «узурпаторами» дворянских прав [Блюш 1998: 132–134].

Кроме самих дворян, от тальи в XVI веке освобождались слуги, обрабатывавшие дворянские земли. Но можно ли четко определить разницу между подобным слугой и арендатором? У дворян возникал соблазн вывести из-под уплаты тальи многих крестьян, арендующих у них земли: ведь с замученного налоговыми платежами арендатора трудно взимать традиционные феодальные платежи. Более того, дворяне, способные освободить крестьянина от тальи, переманивали «мужиков» на свои земли. В ответ государство старалось ограничивать возможности переезда, что не было, конечно, закрепощением, но все же слегка его напоминало [Поршнев 1948: 121–122]. Словом, и здесь имелся предмет для торга: с кого брать, с кого не брать.

Фискальная система была настолько усложненной и персонализированной, что один из королевских эдиктов начала 1630-х гг., предполагающий наведение порядка в финансах, говорил о необходимости иметь не более двух человек с налоговыми изъятиями на один приход [там же: 428]. То есть речь шла не о введении четких принципов, кто платит, кто не платит, а лишь о спущенном сверху количественном плане уменьшения изъятий, под который местные власти должны подстраиваться.

---

тивным в бою, поэтому сама по себе принадлежность к этому сословию никак не оправдывала фискальных послаблений [Ришельё 2008: 251].

Знаменитый военный инженер маршал Вобан провел исследование налоговой системы и нашел в ней 17 способов для получения иммунитета. Причем у каждой лазейки имелась своя группа политической поддержки [Адамс 2019: 293].

Но сложности проведения фискальной политики не ограничивались политическим противостоянием. Существовали и чисто технические проблемы. Следует заметить, что сбор налогов в XVII веке представлял собой совсем иную по сложности операцию, чем в современном мире с крупными предприятиями, большой бюрократией, регулярной статистической информацией и — самое главное — всеобщим распространением рынка. Фискальная деятельность в аграрном обществе, где многие регионы были слабо связаны с рынком, редко давала большой «урожай». Скажем, в Париже, где существовал значительный платежеспособный спрос на товары, или даже в Нормандии, которая снабжала Париж продовольствием, собрать налоги было сравнительно нетрудно. Но что мог заплатить, скажем, Лимузен? Причем проблема здесь возникала не только из-за бедных каменистых почв региона, но больше даже из-за того, что мясо скота, который в Лимузене выращивали, негде было продавать [Ardant 1975: 176]. А если у крестьян не имелось денежного дохода, то чем брать налоги? Рогами и копытами? Мясом взять невозможно, поскольку у государства нет производственных мощностей для его доставки, переработки и хранения. Да и наемники в армию шли ради денег, а не ради солонины.

Поскольку текущих поступлений всегда не хватало, в сложную финансовую систему вклинивалось еще два усложняющих ее элемента. Во-первых, казна брала у финансистов займы под будущие налоги. Во-вторых, казна передавала сбор целого ряда косвенных налогов откупщикам. Те платили государству фиксированную сумму, и если реально собирали больше, то, соответственно, наживались на этой операции [Питтс 2017: 62–63]. В целом откупщики и финансисты часто были одними и теми же людьми. Кредиты государству они давали из денег, нажитых у него же на откупах. Неудивительно, что в такой ситуации возникали различные группы интересов. Бюрократия выступала против финансистов и откупщиков как таких групп, которые в конечном счете сокращали объем ресурсов, находящихся в ее распоряжении. Если у государства в какой-то момент не было очень уж острой необходимости в деньгах, заставляющей «дружить» с кредиторами, бюрократия могла репрессировать откупщиков и конфисковать их капиталы [Люблинская 1965: 246]. Например, в 1523 г. на такой «финансовый маневр» пошел Франциск I [Ивонин 2014: 23].

Таким образом, во Франции существовало большое число групп, чьи интересы принципиально расходились друг с другом. Каждая из них хотела сохранить свои собственные привилегии, не связанные напрямую с привилегиями других. Каждая группа готова была противостоять власти, но не по принципиальному вопросу ограничения финансовых appetитов короля (как в Англии), а лишь исходя из желания перевалить издержки несения фискального бремени на других, а себя освободить от тягот под тем или иным предлогом. Вся эта сложная социальная структура уходила корнями в историю Франции как крупнейшей континентальной державы, вынужденной постоянно вести войны с соседями, а потому — иметь сильную армию и высокие налоги, позволяющие ее содержать (для расположенной на острове Англии проблема укрепления обороноспособности была более простой и дешевой). Наемная армия, подчиненная лично королю, позволяла собирать налоги, опираясь на силу, что устраняло необходимость регулярно получать санкции на сбор налогов у большинства представителей сословий и, соответственно, устраняло необходимость регулярно собирать Генеральные Штаты, которые, таким образом, оказались, в отличие от английского парламента, институтом маловлиятельным. Французской монархии проще было договариваться с влиятельными группами поодиночке — раздавая привилегии сильным и подавляя сопротивление слабых. Изредка отдельные протестующие группы во Франции объединялись для совместной борьбы за свои права, но никогда это объединение не было столь широким и устойчивым, как то, которое организовал английский парламента в XVII веке.

Почти в то же время, когда разразилась английская революция, во Франции бушевала Фронда. Казалось бы, это были похожие явления. Фронда предложила даже механизмы ограничения королевской власти и произвола, которые очень напоминали Великую Хартию Вольностей. Провозглашались неприкосновенность личности и имущества, декларировалось снижение фискального бремени, запрещалось без согласия парламента вводить новые налоги и учреждать новые должности [Иволина 2007: 150]. Однако расстановка сил во Франции сильно отличалась от той, что была в ту же эпоху в Англии. Поэтому никакие декларации так и не смогли предотвратить утверждения французского абсолютизма.

С одной стороны, во Франции не имелось такого института, как английский парламента, где разные группы интересов могли вырабатывать общий курс, да и сами интересы тянули французские группы в разные стороны. «Характер французской буржуазии XVII века, — отмечает исторический социолог Ричард Лахман, — побуждал ее объединять свои

интересы с государством во время Фронды, в то время как английское джентри с местной базой от государства отступило» [Лахман 2010: 243].

С другой стороны, во Франции имелась сильная армия, способная ликвидировать бунты. На первом этапе Фронда была подавлена принцем Кондэ, как только он освободился от участия в боях с испанцами и смог подойти к Парижу, блокировав его со всех сторон (в Англии подобной армии не было). А когда возникла Фронда принцев, для маргинализации оппозиции хватило временного отстранения от власти кардинала Мазарини. Кондэ, который теперь выступил на стороне протестующих, мог фрондировать лишь на испанские деньги, тогда как Париж в этих условиях перешел на сторону власти [Дешодт 2011: 21–43; Ивонина 2011: 64].

Трудно сказать, как Франция разрешила бы все сложности, связанные с конфликтом групп интересов, но в дело вмешалась Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.), и государству пришлось активизироваться в поиске больших денег. Непосредственно задача финансирования войны легла на плечи Ришелье.

Поначалу Франция сама в войне не участвовала и лишь помогала тем, кто боролся против ее врагов — Испании и Империи. Кампании 1628–1629 гг. оплачивались еще главным образом за счет небывалых по размеру займов [Люблинская 1982: 76]. Однако в связи с расширением масштабов военных действий Франция вынуждена была брать на себя все большее бремя расходов, финансируя как свою собственную армию, так и союзнические. В этой ситуации Ришелье не оставалось ничего иного, кроме как повышать налоги [Веджвуд 2013: 433–445].

Еще в зимнюю кампанию 1635–1636 гг. Франции не удавалось мобилизовать налоговые поступления так, чтобы противостоять испанской армии, подпитываемой серебром, поступающим из американских колоний [Шоню 2005: 91]. Но постепенно ситуация изменилась. Общий рост налоговых поступлений с 1610 по 1640 г. был более чем четырехкратным [Люблинская 1982: 85]. Впоследствии налоговые сборы могли повышаться или снижаться, но в любом случае они оставались в два-три раза выше, чем до начала реализации фискальной политики Ришелье [Питтс 2017: 66]. А по сравнению с эпохой Людовика XII сбор денег правительством увеличился в 15 раз, хотя следует принять во внимание, конечно, их сильное обесценивание, случившееся со времен открытия серебряных рудников в Латинской Америке [История Европы 1993: 184–185]. Один буржуа писал в своем дневнике в 1637 г.: «Устанавливают новые налоги на все, что можно, в частности, на соль, вино и дрова; боюсь, как бы не обложили и нищих, греющихся на солнышке, и тех, кто

станет мочиться на улице, как в свое время сделал Веспасиан» [цит. по Глаголева 2007: 256]. Отчеты венецианских послов того времени фиксируют серьезное снижение уровня жизни во Франции [Поршнев 1948: 319–320].

Фискальную деятельность времен Ришелье назвали даже в исторической литературе наших дней налоговым терроризмом [Кнехт 1997: 216]. Примерно так же, по сути, хотя и в иных терминах, оценивали достижения кардинала некоторые его современники. Например, граф-герцог Оливарес — неудачливый испанский «коллега» знаменитого французского министра — отмечал: «Я восхищаюсь тем, как удачно кардинал Ришелье решает многие проблемы, но средства, которыми он обеспечивает свои достижения, отвратительны» [Elliott 1984: 154]. А папа Урбан VIII после смерти кардинала воскликнул: «Если существует Бог, Ришелье за все заплатит, если Бога нет, ему повезло» [Ивонина 2007: 92].

Крестьяне, столкнувшиеся с поборами, противоречившими годами складывавшейся традиции, поднимались на борьбу [Поршнев 1948: 35–113; Блюш 1998: 40]. Говорили, что французскому солдату пройти по оккупированной испанской деревне не так опасно, как сборщику налогов выйти из дома во Франции [Адамс 2019: 289].

Бюргеры также сопротивлялись росту налогового бремени. Возникали, в частности, восстания в городах Бургундии, Прованса, Гиени, которые раньше находились в сравнительно неплохом положении относительно уплаты [Поршнев 1948: 132–275]. В конечном счете провинциям приходилось заключать соглашения с центром на новых условиях. Лангедок, например, стал с 1630 г. платить больше и оказался уравненным в правах с другими регионами [Люблинская 1982: 141]. А провинциальные штаты Дофине Ришелье еще в 1628 г. смог вообще ликвидировать: добился их роспуска без права нового созыва, поскольку они сопротивлялись его налоговой политике. С большим трудом удалось сохранить остатки своей внутренней автономии провинциальным штатам Бургундии и Прованса [Черкасов 2002: 241–242].

Антифискальные выступления народа порождали своеобразные лозунги. Например: «Да здравствует король без оброка и соляного налога!» [Ле Руа Ладюри 2004: 21], «Да здравствует король без тальи!» [Поршнев 1948: 67]. Получалось что-то вроде лозунга времен нашей гражданской войны: за советскую власть без большевиков.

Для того чтобы собирать налоги, Ришелье стал коренным образом перестраивать недееспособную и коррумпированную французскую бюрократию. В новых условиях самым могущественным орудием объеди-



нения и централизации, какое только знала Франция старого порядка, становятся интенданты [Анот 2017: 148]. Начинали они свою деятельность в качестве так называемых комиссаров, которых посылали из центра с временными поручениями — в основном для того, чтобы контролировать деятельность чиновников, неэффективно работавших на местах. Но со временем комиссары превратились в постоянных сотрудников и полностью взяли на себя функции старого бюрократического аппарата, не справлявшегося со своими обязанностями. В 1642 г. правительство официально поручило интендантам распределение и сбор талей, а также других налогов [Кнехт 1997: 240, 243]. В отличие от старых чиновничьих должностей, должности интендантов не продавались [Андерсон 2010: 90]. Иммануил Валлерстайн, отметив, что интенданты стали осуществлять прямую связь центра с территориями, назвал это подлинной абсолютистской революцией [Валлерстайн 2016: 143]. И впрямь, король теперь мог дотянуться своей властью до регионов не через посредников, таких как дворяне-землевладельцы или парламенты, а через тех чиновников, которых сам назначал для проведения своей политики [Кревельд 2006: 162].

Общая величина талей, которую требовалось собрать, спускалась приходу (общине) сверху, а затем раскладывалась на отдельных плательщиков в соответствии с их видимой платежеспособностью. Если кто-то «выпадал», его долю накладывали на других [Мунье 2008: 228]. Поскольку приход коллективно нес обязательства за «выполнение плана» перед государством, то неудивительно, что «сборщики талей выбирались местной общиной. Они отвечали за общую сумму налога, которую должны были собрать; если эта сумма оказывалась меньше ожидаемой, они выплачивали недостачу из своего кармана или их ждала тюрьма. Таких тюремных заключений было много между 1636 и 1648 гг.; заключение могло длиться несколько дней или месяцев. Богатый заключенный мог быть освобожден раньше; бедному же, не имевшему покровителей, надеяться было не на что. Во французских тюрьмах находилось много сборщиков налогов, которых заставили умирать от голода» [Кнехт 1997: 205]. Система была жесткая, но по тем временам эффективная. Неудивительно, что принцип круговой поруки был применен в петровские времена и на Руси. Миф о том, что общинный принцип коллективной ответственности является специфической чертой русского коллективистского менталитета, как видим, не подтверждается фактами. На самом деле он, как и многие начинания петровских времен, представляет собой импортированный институт.

При Ришелье фактически появилось то, что называется в наше время налоговой полицией. Это были специальные войска (легкая кавалерия), которые размещались в провинциях и придавались в помощь чиновникам для сбора налогов. Содержали эти войска откупщики, т. е. солдаты были непосредственно заинтересованы в успешном сборе налогов (без этого откупщики просто не смогли бы им заплатить). Любопытно, что первая рота подобной «налоговой полиции» была расформирована из-за совершавшихся ею преступлений. Однако потребность в сборе денег сохранялась. Поэтому между 1640 и 1644 гг. множество таких рот было прикомандировано к интендантам [там же 1997: 208]. Похожую практику размещения армии в регионах для сбора налогов ввел и Петр I.

Что касается самого построения армии, то Ришелье постарался централизовать систему ее комплектования. Все города должны были поставлять определенное число новобранцев по разрядке. Специальное обучение делало их за несколько месяцев пригодными для выполнения своих воинских обязанностей [Глаголева 2007: 317, 327]. Рекрутский набор на Руси при Петре строился на похожих принципах.

Большая армия, большой бюджет, формирование бюрократии, способной собирать налоги, и, наконец, централизация, т. е. единообразие управления различными регионами из единого центра, — все это черты новой эпохи, начавшейся с Ришелье. Эпохи, в которую раньше или позже вошли и другие страны. «Государство Ришелье было государством будущего: централизованным, компактным и основанным на принципе национальной идентичности. Ришелье стал символом будущего, а Оливарес — прошлого», — отмечал английский историк Джон Эллиот в книге, посвященной сравнению этих двух современников [Elliott 1984: 164].

И все же, несмотря на весь «налоговый терроризм» Ришелье, после смерти «великого кардинала» денег бюджету по-прежнему не хватало. Суперинтендант финансов Никола Фуке сделал ставку на превращение системы государственного долга из хаоса отдельных разрозненных операций в четко работающую машину. Он дал понять кардиналу Мазарини, что получать займы можно будет лишь в том случае, если кредиторы смогут доверять заемщику. А затем сформировал большую группу (в целом более 500 человек) профессиональных финансистов и людей, обладающих свободными средствами, способных систематически предоставлять деньги казне. При необходимости он обеспечивал стабильность кредитования своими собственными деньгами и своими личными гарантиями [Питтс 2017: 68–72].

Несмотря на впечатляющий масштаб операций, подобная система вряд ли могла стабилизировать финансы. В частности, из-за связанной с этим коррупции. Например, в Лангедоке в 1677 г., согласно оценкам, более трети собранных налогов осело в карманах разных влиятельных лиц провинции [Кревельд 2006: 188].

Во-первых, государство почти не способно было контролировать денежные потоки, и потому доходы финансистов превышали всякие разумные пределы. А если деньги нужны были срочно в военных условиях, процентная ставка взмывала «до небес». Никто не мог определить, получил ли кредитор «справедливое вознаграждение» или хапнул столько, сколько мог [Питтс 2017: 134]. Сам Фуке, чудовищно разбогатевший, был в конечном счете осужден за злоупотребления. Кроме того, есть основания считать, что огромные суммы он передавал Мазарини в качестве взяток, или, точнее, как плату за покровительство. Пристраивались к государственной казне и лица, которым покровительствовала королева-мать [там же: 71, 91, 177].

Во-вторых, сама по себе высокая должность оборачивалась для ее обладателя золотым дождем. Коррупцирован был даже Ришелье. Во всяком случае, известно, что он использовал свое служебное положение и почти неограниченную власть для приобретения земли задешево. Ришелье мог сам прислать к продавцу оценщика, а затем покупал имение по той сравнительно низкой цене, которую тот установил [Беллок 2002: 97]. Можно догадываться, почему продавцы соглашались. Иногда они зависели от него по службе и, возможно, даже компенсировали убыток от сделки с кардиналом каким-то другим способом [Bergin 1985: 130].

«Образцовым чиновником» в плане трансформации властных позиций в денежные накопления был, конечно, кардинал Мазарини. Уже в начале своего правления (1643–1648 гг.) он откладывал у банкиров более миллиона ливров ежегодно. В эпоху Фронды кардинал слегка «обеднел», но затем ускоренными темпами компенсировал временные неудачи. Перед смертью он имел 39 млн ливров, причем, в отличие от «традиционно мыслящего» Ришелье, предпочитал держать накопления не в недвижимости, а в ликвидной форме [Treasure 1995: 278–279].

Попытку справиться с финансистами предпринял Жан-Батист Кольбер [подробнее о нем Травин, Маргания 2011: 41–54], используя для этого, в частности, противоречия различных групп интересов. Судейские чиновники не любили финансистов и рады были им «вмазать» при первой возможности. Так, например, «Палата правосудия» использовалась для того, чтобы давить на бизнес и заставлять его с помощью разных

угроз пересматривать задним числом условия контрактов. Если какого-то «олигарха» вдруг показательно казнили, остальные сразу раскошеливались: платили разные штрафы и компенсации за былые злоупотребления. Получив от финансистов деньги, государство их амнистировало ко всеобщему удовлетворению [Малов 1991: 81–87; Питтс 2017: 115–116]. Ф. Фукуяма прямо назвал подобную деятельность рэкетом [Фукуяма 2015: 434]. По всей вероятности, как часто бывает при такой организации дел, наказывали не самых виновных, а тех, кто просто не смог отмазать себя очередными взятками. Поэтому государственные финансы после казней и штрафов не становились здоровее. Более того, подобные «разборки» лишний раз демонстрировали всю условность прав собственности французского бизнеса.

Процесс над самим Фуке демонстрировал эту условность в еще большей степени. Доказательств его вины явно не хватало, но Кольбер, желавший вытеснить из администрации суперинтенданта финансов, в конце концов, «угрожающе сообщил, что процесс наносит ущерб репутации трона. Ведь это просто в голове не укладывается: король, самый могущественный и грозный монарх Европы, не может довести до завершения суд над таким субъектом, как Фуке» [Питтс 2017: 187]. После Кольбера и сам Людовик XIV высказался в подобном же духе: мол, кто же с ним в Европе будет считаться, если здесь не считаются [там же: 192]. После подобного разъяснения задач, стоящих перед судейскими, процесс, понятно, довели до осуждения виновника и конфискации его имущества. После чего король, наплевав на решение суда об изгнании, лично принял решение заточить Фуке и содержать в ужасных условиях [там же: 256–259]. Французский историк Эрик Дешодт высказался о деле Фуке предельно резко: «Процесс этот является верхом беззакония: особое судебное производство, чудовищные нарушения, фальсификация и изъятие основных доказательств, давление, угрозы, подкуп свидетелей, полное пренебрежение правом на защиту» [Дешодт 2011: 82].

Интересно сравнить данный процесс с делом наиболее известного российского вельможи и коррупционера начала XVIII века Александра Меншикова — не менее влиятельной фигуры, чем Фуке во Франции. В случае Меншикова никакой имитации законности не было. Без всякого суда его арестовали по указу несовершеннолетнего царя Петра II. Но во всем остальном эти две истории почти идентичны: Меншикова сослали и лишили имущества [Павленко 1983: 150–186]. «Обертки» в двух странах выглядели по-разному, но «конфетки» нисколько не различались.

После падения Фуке государственные финансы Франции полностью перешли под управление Кольбера. Выручать деньги от продажи должностей он не любил, поскольку это уводило капитал из производства и мешало серьезно реформировать госслужбу [Potter 2003: 37]. «Кольбер легко убедил короля, у которого крепко засели в памяти годы Фронды, что комиссары — его люди, что они дисциплинированные, открытые, старательные, способные, динамичные чиновники, совсем не похожие на своих собратьев судейских, на этих мрачных, упрямых, эгоистичных парламентариев, закомплексованных узкоюридическими предрассудками. <...> Несколько десятков комиссаров стали главными пружинами страны» [Блюш 1998: 158].

Для добычи денег Кольбер сделал упор на новые подходы.

Во-первых, он стремился поставить сбор тальи на «научную основу», начав составлять генеральный кадастр земель. Ведущую роль в сборе тальи с 1663 г. стали играть интенданты, тогда как численность офицье старого типа уменьшилась. В идеале все это должно было позволить собирать больше налогов с крестьянства. Во-вторых, Кольбер стал поощрять торговлю и мануфактуры, четко показывая, зачем он это делает: «торговля — это источник финансов, а финансы — это нерв войны». При этом Кольбер не являлся фанатиком госрегулирования. Он был прагматиком, но стремящимся не к развитию общественного благосостояния, как принято у разумных политиков сегодня, а к наполнению казны, из которой требуется финансировать армию [Блюш 1998: 169–170; Малов 1991: 71–73; Птифис 2008: 97–98].

В-третьих, усилился протекционизм. Импорт был ограничен в основном покупкой сырья [Блюш 1998: 167–168]. Но протекционизм этот вытекал не из теоретических представлений о преимуществах импортозамещения, а из практического стремления удержать в интересах казны (и соответственно, армии) те деньги, которые могли заработать ушлые голландские или английские торговцы. «Определенно война, все более дорогостоящая, играла роль в развитии меркантилизма» [Бродель 1988: 554].

Как образно сказал в отношении Кольбера французский историк Пьер Шоню, «его ненависть к Голландии была сродни терзаниям любви или зависти к успешной модели» [Шоню 2005: 144]. Ведь вдоль атлантического побережья Франции «от Фландрии до Байонны, не было ни одной гавани, которая не познала бы всевозрастающих посещений голландских кораблей» [Бродель 1992: 258]. По всей видимости, если бы моряки из Бордо или Сен-Мало могли вытеснить на мировом рынке моряков из Амстердама и Лондона, протекционизм во Франции не прижился бы.

В целом надо заметить, что экономическая теория меркантилизма, об ошибочности которой много писали квалифицированные экономисты со времен Адама Смита, на самом деле не была ошибочной в узком смысле слова. Она, конечно, не способствовала модернизации, но решала сиюминутные задачи по принципу «после нас хоть потоп». Чтоб государство богатело, надо было бы ему, конечно, опираться на свободную торговлю<sup>10</sup>. Но задача-то перед монархией тогда стояла совершенно иная. Не развиваться в долгосрочном периоде за счет экономики, а победить в очередной войне: здесь и сейчас. Для этого именно здесь и сейчас королю требовались деньги. «Деньги — главный нерв войны, — писал еще в 1615 г. (до Ришелье и Кольбера) Антуан де Монкретьен, один из первых теоретиков меркантилизма, — а извлекаются они из налогов, уплачиваемых с торговли» [цит. по Люблинская 1965: 131–134]. Поэтому торговлю защищали таможенными пошлинами, и каждый ее успех оборачивался краткосрочной выгодой казны, что, собственно, и требовалось «экономическим стратегам» эпохи меркантилизма.

В конце концов Людовик XIV с Кольбером добились своего: они смогли худо-бедно профинансировать огромное войско. «Если в 1667 году армия насчитывала 72 000 человек, то в 1672 году число солдат достигает 120 000, в 1678 году — 280 000, а в 1710 году — 380 000. Ни одна из европейских держав не способна была содержать столь многочисленное воинство» [Птифис 2008: 134–135]. Именно этот образец был наиболее привлекателен для Петра I, который в начале XVIII века вел Северную войну со Швецией и задумывался о том, как можно усилить свою армию.

Кольберу удалось несколько снизить талью там, где народ был переобременен налогами, и существенно повысить в тех регионах, которые были ранее недостаточно обложены. Наведение порядка в откупах повысило сбор косвенных налогов. «Чистый доход монархии удвоился с 1661 по 1671 г., и регулярно достигался бюджетный профицит» [Андерсон 2010: 96]. «Контролируемая субинтендантами Франция, — сделал глобальный вывод П. Шоню, — вся оказалась учтенной, зажатой тисками налогов, переписанной, понукаемой из Версаля — одним словом, полностью управляемой по всем своим 42 тыс. приходов. Великой индустриальной революции XIX века предшествовало торжество государства» [Шоню 2005: 31].

Государство действительно стало принципиально новым — бюрократическим. Вместо феодального конгломерата отдельных территорий, объ-

---

<sup>10</sup> О заблуждениях протекционизма см. [Усанов 2019: 144–146].

единенных иерархией «сеньор — вассал», возникло единое целое, объединяемое единой администрацией, единой финансовой системой и единой армией. Однако степень торжества государства не стоит все же переоценивать. Многие важные задачи не удалось решить бюрократическим путем. Более того, их в принципе нельзя было подобным образом решить. Следует отметить, что масштабы финансового успеха были все же на порядок меньше успеха в деле военного строительства. Выдержать такой быстрый рост численности армии не могла никакая финансовая система.

В 1689 г. (Кольбера давно уже нет в живых) Людовик XIV, обладающий огромной личной властью, вынудил ряд богатых людей оказать добровольно-принудительную помощь казне [Блюш 1998: 540]. А в 1695 г. он ввел подушный налог, который обязаны платить все подданные, подразделенные на 22 категории в зависимости от социального статуса: начиная с королевской семьи и кончая слугами [там же: 596–597]. Через несколько лет его отменили. Но в 1701 г. началась разорительная война за испанское наследство, и бюджет вновь затрепал по швам. Налог восстановили, однако это не помогло [там же: 621]. В 1706 г. военные расходы составляли 200 млн ливров, тогда как доходы казны — лишь 50 млн. Солдатам даже прекратили выплачивать жалованье [Птифис 2008: 285–286]. Очередной кризис вынудил короля вновь обложить свою страну тяжким бременем. В 1710 г. он ввел подоходный налог — десятину, которую должен уплачивать каждый его подданный [Блюш 1998: 652].

К счастью для народов, как войны, так и короли не вечны. В 1714 г. был заключен мир. В 1715 г. скончался Людовик XIV. К этому времени огромный доход государства в основном поглощался обслуживанием госдолга [Кревельд 2006: 189]. Чтобы как-то с этим разобраться, вновь начали репрессировать финансистов [Лахман 2010: 255].

## **Чего хочет король, того же хочет и право**

Сосредоточение в руках короля Франции финансов было бы невозможно без сосредоточения административной власти. Институт сословного представительства перестал быть для него преградой при проведении фискальной политики. В 1523 г. Франциск I отменил разделение бюджета на ту часть, которую он сам свободно формирует, и ту, которая формируется налогами с одобрения Генеральных Штатов [Кревельд 2006: 186]. Сделать это было тем проще, что данный орган сословного представительства при его жизни вообще не функционировал. А через

сто лет Штаты, по сути дела, были ликвидированы. После 1614 г. они не собирались вплоть до революции, и лишь в отдельных регионах сохранились штаты провинциальные.

На последних Генеральных Штатах в 1614 г. имел место характерный диалог власти и общества. В ответ на просьбу депутатов от третьего сословия снизить талью было сказано, что у Штатов есть лишь две функции — передавать монарху жалобы народа и оказывать помощь королю. Что же касается налогов, то их можно, пожалуй, обсудить в Королевском совете. Через два дня огласили размер бюджетного дефицита, и стало ясно, что снижения не будет [Люблинская 1959: 160].

Концепция королевской власти эволюционировала следующим образом. В 1588 г. она выглядела так. Власть принадлежит нации, но вверена королю. Пока король жив и дееспособен, Штаты не играют никакой роли. Но если король умирает, не оставляя наследников, или существует сомнение в выборе между претендентами, то власть принадлежит Штатам, однако лишь до тех пор, пока не появится новый король [Анот 2017: 183]. Проще говоря, король — не собственник государства. Несправедливый или неразумный закон снимает с подданных обязанность быть лояльными [Блюш 1998: 144, 147]. Однако по мере укрепления королевской власти представления сильно менялись. Людовик XIV уже (как в свое время наш Иван Грозный) «убежден в божественном характере данной ему власти. Хранитель власти сакральной, король не должен подчиняться какой-либо иной, земной и преходящей власти. Первое следствие теории божественного права — абсолютная покорность, которую должен проявлять народ по отношению к королевской власти. Неподчинение есть святотатство. Наместник Бога на земле, правитель обладает врожденным чувством всеобщего блага. Его интересы совпадают с интересами государства. Его отношение к обществу схоже с отношением отца к своим детям» [Птифис 2008: 92]. Конечно, бывают и плохие короли, которых можно назвать деспотами. Но Людовик-то считал себя идеалом монарха. И пусть только кто-то попробует с этим не согласиться!

Впрочем, во Франции для ограничения абсолютной власти монарха формально имелись другие механизмы, кроме сословного представительства. В частности, парижский парламент<sup>11</sup> обладал правом регистрации королевских актов. Считалось, что, хотя именно монарх издает ордонансы (законы) и эдикты (особые законы), он должен учитывать

---

<sup>11</sup> Имеется в виду суд, а не орган сословного представительства, который во Франции именовался Генеральными Штатами.



традиции страны и не совершать волюнтаристских поступков. Если парламент вдруг сочтет, что подобные нарушения имеют место, он может подать ремонстрацию — письменный протест в отношении королевского законотворчества. Однако король имел право отклонить этот протест, соблюдая необходимую процедуру [Блюш 1998: 43–44; Птифис 2008: 45]. Иными словами, парламент выполнял, скорее, совещательную функцию при монархе, чем властную. Он был не органом госуправления, а, скорее, инструментом, с помощью которого монарх мог принимать продуманные решения, не подрывающие авторитет власти.

Однако на практике король был, скорее, заинтересован в том, чтобы обойти парламентские ограничения, а не в том, чтобы править с учетом советов мудрых мужей. Легисты ввели формулу: чего хочет король, того же хочет и право [Анот 2017: 111]. Королевская власть стремилась максимизировать свои полномочия в разных сферах. Она вторгалась, например, в область, подведомственную судам духовным, отбирая у них дела [там же]. Что же касается функций парижского парламента, то считалось: он «должен быть силен, но лишь до тех пор, пока верен. Эта формула и определяет границы его компетенции и ведомства. Они простираются на все, когда нужно помочь государственной власти; они вдруг ограничиваются, когда дело идет о сопротивлении ей. <...> При переменах на троне, во времена несовершеннолетия, парламенту льстили, ласкали его, признавали, что “по обычаю он должен позаботиться о регентстве”. Но когда правительство было сильно, оно сейчас же грубо отталкивало от себя парламент, как только он вмешивался в политику с излишней настойчивостью» [там же: 116, 121].

Как-то раз на заседании парижского парламента королевский адвокат Сервен «попытался протестовать и произнес пылкую речь в защиту того, что он считал правами народа и справедливостью, после чего упал без чувств к ногам короля. Той же ночью он умер, не приходя в сознание» [Глаголева 2007: 269]. Открытое противостояние власти, столь привычное для современных демократий, при Людовике XIII было делом излишне волнительным.

Существовали и другие институты ограничения власти монарха. Например, «взять деньги из королевской казны можно было только с позволения Счетной палаты. Когда в 1610 году Марии Медичи (вдове Генриха IV. — Д. Т.) потребовалась немалая сумма на поездку двора в Гиень, Счетная палата трижды отказала ей в разрешении. В результате обошлись без него: приехали и вывезли 40 повозок по 30 тысяч ливров в каждой, оставив в казне только 400 тысяч экю» [там же: 271].

Правда, в XVII веке имелись иные, более рациональные механизмы сопротивления, нежели открытый протест. Правительство в ту эпоху, когда бюрократия была еще слаба и немногочисленна, не всегда могло настоять на своих решениях, если парламент им сопротивлялся. Формально центральная власть доминировала, но на практике чиновничество на местах могло саботировать выполнение тех королевских указов, которые парламент не завизировал. Поэтому со стороны короля для работы с парламентариями требовались не только твердость и способность применить силу, но также способность манипулирования, включая подкуп. Словом, все в конечном счете определялось соотношением сил различных групп интересов в конкретной ситуации, а отнюдь не формальными нормами [Ивонина 2007: 144]. Твердая власть обычно находила средства, чтобы повлиять на строптивый парламент, тогда как слабая — временно отступала [История Европы 1993: 182].

Учет влияния групп интересов был важен даже при абсолютизме. И парламенты фактически являлись не столько ограничителями власти, сколько выразителями этих интересов. Знание реалий позволяло избегать обострений. Но бывали, конечно, моменты, когда королевская власть оказывалась слаба и в то же время непредусмотрительна в отношении оппозиции. Тогда парламент мог даже попытаться пересмотреть сложившуюся практику управления в свою пользу. Самый известный случай подобного рода — Фронда, восстание, случившееся в годы малолетства Людовика XIV. В январе 1648 г. недовольство деловых кругов новыми налогами и недовольство бюрократии появлением очередной «порции» должностей, созданных кардиналом Мазарини ради пополнения бюджета, привели к волнениям на улицах Парижа. Парламентарии на этом фоне не только отказались от регистрации нового эдикта, но объявили о создании ассамблеи делегатов, призванных реформировать государство. «Судейские крючки» стали отрицать полноту королевской власти, учреждая тем самым «теневую власть судей». Помимо прочего, они требовали отзыва из провинций комиссаров и интендантов, а также отмены королевских указов о заключении людей под стражу без суда и следствия [Птифис 2008: 46–47]<sup>12</sup>. Тем не менее по окончании Фронды централизация власти продолжилась. В частно-

---

<sup>12</sup> По всей вероятности, существенным стимулом к такой активности парламентариев были события происходившей в это же время английской революции [Манфред 1972: 258]. Однако возможности французской оппозиции существенно отличались от возможностей английской.

сти, Людовик XIV ограничил право парламентов на ремонстрацию [там же: 102].

Таким образом, постепенное формирование абсолютной монархии сводило роль парламентов, сословного представительства и прочих ограничивающих власть короля механизмов к формальности. В то же время надо понимать, что абсолютизм — это отнюдь не возможность вытворять все, что хочешь. Король должен был считаться с интересами разных групп даже тогда, когда они с трудом могли за себя постоять в прямом столкновении с монархией [Хеншелл 2003].

### «Спарта Севера»

Франция представляла собой пример государственного устройства, существенно отличающийся от английского. Формально у других европейских государств имелся выбор, каким путем пойти. Однако «за пределами успешной срединной оси Европы лишь немногие светлые умы отдают предпочтение английским оттенкам перед французскими. Административная монархия Людовика XIV не выходит из головы у Фридриха II. Раздробленная Италия, Испания в процессе объединения, Мария-Терезия в Вене — все думают о Версале» [Шюню 2008: 208–209]. При этом лучше других, конечно, думали о французском опыте прусские монархи. Если Франция в XVII–XVIII столетиях стала самым сильным европейским государством, то Пруссия показала пример восхождения с очень низкого уровня государственного развития в разряд ведущих держав.

Общая логика формирования армии, финансовой политики и абсолютистского государства в Бранденбурге (Пруссии) была примерно такой же, как во Франции, но начались эти процессы на два столетия позже. В Бранденбурге сильное сословное представительство ограничивало государя и не давало ему произвольно собирать с населения деньги. Ландтаг сам взимал основной земельный налог — контрибуцию. Однако Тридцатилетняя война все изменила, поскольку привела к страшным бедствиям на территории Германии, к грабежам и погромам, осуществленным иностранными армиями (в основном шведами). Более половины населения Бранденбурга погибло от войны и связанных с ней болезней. В Берлине из 14 тыс. жителей, имевшихся в 1618 г., к 1640 г. осталось лишь 6 тыс. Во Франкфурте-на-Одере осталось 2 тыс. из 12 тыс., а в Пренцлау — 900 человек из 9 тыс. [Fay, Epstein 1964: 43]. Существует мнение, правда, что «население страны не столько вымирало,

сколько перемещалось из одного места в другое» [Веджвуд 2013: 556]. Но даже если это так, нет сомнения, что война стала тяжелейшим испытанием для немцев и в ответ на них должна была последовать какая-то реакция.

Курфюрст Георг-Вильгельм оказался не готов к этой войне. Он надеялся защитить свое маленькое государство дипломатическими уловками, однако такой подход, увы, не помог. Как писал впоследствии его сын Фридрих-Вильгельм, «альянсы хороши, конечно, но собственные силы лучше» [Craig 1964: 2].

Бедствия стимулировали Георга-Вильгельма, как ранее французских монархов в эпоху Столетней войны [Травин 2015], сформировать небольшую наемную армию для защиты страны. Сословия этому не воспротивились. Но когда такая армия сформировалась, курфюрст смог использовать ее для того, чтобы собирать налоги с собственных подданных, не спрашивая уже разрешения ландтага. Дворянство, конечно, было этим не слишком довольно. Однако государь имел теперь возможность вести переговоры с сословиями с позиции силы. В 1653 г. Фридрих-Вильгельм, прозванный Великим курфюрстом, смог прийти с юнкерами ко взаимовыгодному соглашению, согласно которому государство получало большую контрибуцию в обмен на серьезное расширение прав помещиков в отношении крестьян (все они теперь считались крепостными, если не могли доказать иное). Дополнительное финансирование позволило расширить наемную армию, а это создало инструмент для ужесточения фискальной политики и, в частности, для серьезного увеличения размеров акцизных сборов (без санкции ландтага) во всех курфюршеских городах [Андерсон 2010: 225; История Европы 1994: 166–169].

Поворотной точкой в деятельности Великого курфюрста стало «незаконное формирование трех политических монополий династии: на осуществление внешней политики, на введение постоянных налогов и на поддержание постоянной армии без согласия сословий» [Rosenberg 1958: 35]. После этого сословное представительство практически потеряло свое значение. Аналогичные процессы шли в большинстве германских земель, в том числе в крупнейших — Австрии и Баварии. В некоторых государствах (Брауншвейге, Саксонии, Гессене, Мекленбурге и Вюртемберге) сословия сохранили свой статус, цепляясь за права и привилегии, но даже там они редко уже играли активную роль в общественной жизни [Barraclough 1947: 380].

Темп роста доходов государства в Бранденбурге при Фридрихе-Вильгельме в 1660–1680 гг. был даже большим, чем во Франции. В начале сво-

его правления он имел крохотную армию, насчитывающую 2,5 тыс. человек [Craig 1964: 3]. К 1653 г. она выросла до 4 тыс. [Finer 1975: 139]. Но затем с помощью произвольно накладываемой на своих подданных контрибуции, а также благодаря целому ряду других экономических мер — умелой эксплуатации курфюршеского домена<sup>13</sup>, насаждению системы косвенных налогов и ловкой политике внутренней колонизации опустошенных земель<sup>14</sup>, казна правителя выросла в четыре раза с 500 тыс. талеров до 2 млн. Появились комиссары — немногочисленные хорошо оплачиваемые агенты курфюрста, занятые сбором налогов, и на этой базе возникла огромная постоянная армия — 27 тыс. человек [Fay, Epstein 1964: 51, 55; Шоню 2005: 41]<sup>15</sup>. Когда Великий курфюрст умер (1688 г.), войско достигло 30 тыс. [Craig 1964: 5; Clark 2006: 43].

Как и во Франции, внешняя опасность в Пруссии способствовала созданию наемной армии, а армия способствовала возникновению абсолютизма, прокладывая своему монарху-полководцу путь к власти [Нефедов 2014, № 2: 42]. При этом «люди, охваченные атаквистическим страхом перед вероятными последствиями любого распада существующих социальных отношений, — писал о немцах американский историк Гордон Крейг, — принимали непомерные требования князей» [Крейг 1999: 19]. Отличие от Франции состояло лишь в том, что там королю удалось примерно за время жизни двух поколений после Фронды ограничить роль дворянства, опираясь на буржуазию, разрушая аристократические клиентелы и создавая большую бюрократию, тогда как в Пруссии с ее сильным дворянством и слабыми городами курфюрст опирался на юнкерство и одновременно откупался от него за счет крестьянства. Помещики не только получили больше прав в отношении крепостных, но стали доминировать при решении всех местных вопросов. Им же (а не

---

<sup>13</sup> Около трети земель Бранденбурга и около половины Герцогской Пруссии (т. е. того герцогства, которое возникло в результате секуляризации, а по сути — приватизации Тевтонского ордена [Травин 2017: 33–34]) принадлежало лично курфюрсту [Clark 2006: 61].

<sup>14</sup> По некоторым оценкам, почти треть населения Пруссии к 1786 г. состояла из колонистов, переселившихся в эту страну со времен правления Великого курфюрста [Лависс 2011: 269–270].

<sup>15</sup> Естественно, не только фискальные механизмы кормили армию. Они, скорее, помогали ее содержать в мирное время. Фридрих Великий в военный период лишь примерно на четверть финансировал прусскую армию за счет сбора налогов. Остальное давали займы, резервы, английские субсидии, контрибуции с захваченных территорий, а также «порча монеты» [Duff 1974: 131].

сторонним интендантам) был доверен и сбор налогов с крестьян. Кроме того, земля, владение которой раньше обуславливалось службой курфюрсту, при Фридрихе-Вильгельме перешла в полную собственность юнкерства [Craig 1964: 4; Андерсон 2010: 247].

Сплотившуюся вокруг своего государя Пруссию стали называть «Спартой Севера» [Hagen 2007: 69]. Нобилитет служил государю не за страх, а за совесть. Офицерский корпус на 90 % состоял из дворян. К 1806 г. из 7 тыс. офицеров прусской армии лишь 695 не были дворянами, причем они служили в основном в артиллерии (требующей особого мастерства) и во вспомогательных войсковых службах. В Померании к 1724 г. практически все дворянство за небольшим исключением состояло либо из действующих офицеров, либо из отставных. В других регионах верных служак было несколько меньше, но все же их доля в нобилитете превышала 60 % [Büsch 1997: 61–62; Craig 1964: 17]. На этот факт стоит обратить внимание, поскольку он демонстрирует, что и без жесткого принуждения со стороны монарха дворяне активно служили в армии. С одной стороны, это воспринималось как долг чести, а с другой — у нобилитета в экономически слабо развитых регионах все равно не имелось серьезной альтернативы военной службе. При этом дворянство освобождалось от налогов лишь в том случае, если служило [Адамс 2019: 215]. Экономические и моральные стимулы действовали лучше административных. Поэтому значение «закрепощения дворянства», которое было в России, не стоит переоценивать.

Шведская угроза заставила реформироваться не только Бранденбург, но и Данию. В 1665 г. там сформировался абсолютизм. Для укрепления армии резко усилили налоговое бремя, возлагаемое на крестьян. Однако между монархом и датским дворянством сложились плохие отношения, поэтому в новой армии 75–80 % офицеров происходило из низов и из иностранцев. Офицерскую должность можно было купить [Нефедов 2014, № 1: 32–36]. Возможно, это стало одной из причин ее значительно меньшей эффективности в сравнении с армией прусской.

Практически параллельно с Пруссией и Данией в том же направлении стала меняться империя Габсбургов. Деньги дали возможность Габсбургам создать наемную армию и сломить сопротивление землевладельцев нарастающему абсолютизму [Митрофанов 2010: 88]. Большое значение для укрепления власти кайзера имела контрреформация, в ходе которой было подавлено сопротивление «фрондирующего» протестантского дворянства благодаря опоре на иезуитов и католических мигрантов, пришедших из разных земель [Rosenberg 1958: 44].

Важнейшую роль в увеличении размеров габсбургской армии сыграло обострение турецкой угрозы. Если в 1668 г. имперское воинство насчитывало лишь 14 тыс. человек, то после того, как турки постояли у ворот Вены (1683 г.), оно стало резко нарастать и к 1703 г. составило 129 тыс. солдат. С 1682 г. сбор так называемых «турецких денег» (налога на имущество для всех сословий) стал осуществляться без консультаций с сословными собраниями. В 1690-е гг. решением императора налоговое бремя было еще более увеличено за счет других платежей, причем не только в Австрии и Чехии, но также в Венгрии, которая раньше дорожила сословным представительством и старалась ограничивать власть Габсбургов [История Европы 1994: 176–177]. И хотя сворачивание венгерских свобод спровоцировало восстание Ференца Ракоци, снизить налоговое бремя было уже невозможно. При недолгом правлении Ракоци налоги оказались даже выше, чем до него [Контлер 2002: 237]<sup>16</sup>.

Австрийский абсолютизм не принял, конечно, таких законченных форм, как абсолютизм французский, однако позволил императорам меньше оглядываться на сословия [Воцелка 2007: 186]. Сложное имперское устройство сшитой на живую нитку державы обуславливало большее сопротивление централизации в различных землях и требовало больших компромиссов, больших согласований финансовой политики между короной и сословиями, чем во Франции или Пруссии. Ко всем тем причинам восстаний, которые происходили во Франции во времена Ришелье и Фронды, здесь добавлялись острые межэтнические противоречия.

В сравнительно богатой Богемии, где местные элиты были подавлены в ходе гуситских войн, а затем еще и сильно пострадали во время Тридцатилетней войны, налоговое бремя было самым высоким. В наследственных землях Габсбургов оно оказалось поменьше. А с интересами небогатых, но всегда готовых к выражению протеста, венгров монархам приходилось считаться больше, чем с интересами других народов [Kann 1980: 119–120, 127–128]. Тем не менее в XVIII веке налоги регулярно собирались для формирования армии, способной на равных с основными соперниками Габсбургов участвовать в европейских войнах [Ingrao 2000: 159–163]. Ведь любое отставание грозило поражением и потерей земель.

---

<sup>16</sup> В ходе войны за испанское наследство недостаток средств опять проявился. Несмотря на высокое налоговое бремя, пришлось прибегнуть к огромным займам [Ingrao 2000: 111–112, 127].

Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что на протяжении XVIII в. Европа, включая, конечно, и Россию, активно следовала по французскому пути. «В общем и целом с 1690 по 1788 год финансовая мощь государства при той же численности населения и ценах выросла во Франции примерно на 10 % <...> Если рассматривать Европу в целом, в 1780 году государство располагало в 4–5 раз большими средствами, чем в 1680-м» [Шоню 2008: 215, 234]. Впрочем, поскольку исходные условия, исторический путь и обеспеченность ресурсами были в разных странах различными, опыт Франции дополнялся использованием тех местных механизмов развития, которые были пригодны для достижения главной цели — сильной армии.

В этом смысле особый интерес представляет Швеция, сумевшая, несмотря на слабость ресурсной базы, почти сто лет входить в число сильнейших европейских держав. Эту страну, наверное, тоже можно было бы назвать своеобразной «Спартой Севера», значительно отличающейся от Франции («Афин»), где дворянство, все чаще оказывающееся не у дел, предавалось отвлеченным размышлениям. Шведская армия обладала существенной спецификой в сравнении с французской, что проявилось, по всей видимости, уже в Тридцатилетнюю войну.

Во время этой войны имперская армия еще строилась по старому принципу. Ведущие полководцы граф Йоганн фон Гилли и герцог Альбрехт фон Валленштейн были военными предпринимателями, которых государство наняло на время боевых действий вместе с их войсками. По сути дела, войска представляли собой огромные банды, а военачальники являлись кондотьерами старого типа, но действующими в значительно больших масштабах и оперирующими значительно большими деньгами, чем те, которые могли в XV веке платить за защиту итальянские города. Император дал добро Валленштейну на то, чтобы он брал от его имени контрибуцию на оккупированных территориях для покрытия военных издержек. Под будущие контрибуции фламандец Ханс де Витте — агент Валленштейна — провел переговоры о займах с международной сетью кредиторов [Parrot 2012: 118–119].

Пожалуй, главной особенностью действий Валленштейна было то, что ему удалось превратить свою армию в самокупаемое капиталистическое предприятие, не зависящее даже от «заказчика услуг». «Получив большие поместья, конфискованные у протестантов Фридландии, он использовал свои ресурсы, чтобы собрать и обучить армию. Затем армия прошла по северу Германии, заставив города платить дань, которая позволила ему увеличить армию до 140 тыс. человек. Если бы не его убий-



ство, кто знает, какое “государство” мог бы создать такой предприимчивый генерал» [Манн 2018: 639]. В дополнение к чисто военному предпринимательству Валленштейн использовал для финансирования армии и обычный бизнес. Продовольствие для армии он закупал в собственных богемских поместьях. И даже производство оружия наладил на своих предприятиях с помощью де Витте [Мак-Нил 2008: 145]. До Валленштейна Европа никогда еще не знала подобного высокодиверсифицированного военно-промышленного комплекса.

Лишь во второй половине XVII века происходит превращение армии из частного предприятия в государственное. Это произошло «между 1670 и 1680 гг. во Франции при Летелье и Лувау, несколько раньше в Бранденбурге, несколько позже в Австрии» [Шоню 2005: 42]. При Летелье и Лувау государство взяло на себя не только «фронт», но и «тыл»: снабжение армии продовольствием и фуражом, приобретение единообразной военной формы, а также стандартизацию вооружения [Мак-Нил 2008: 149, 165]. Раньше «заказчик» лишь платил кондотьеру деньги, тогда как все остальное делалось военным предпринимателем как частным «подрядчиком». Теперь же меж экономикой и армией встало военное министерство. Важнейшую роль начала играть логистика, особенно в тех случаях, когда боевые действия велись на нескольких фронтах: например, во Фландрии, на Рейне и в Испании [Finer 1975: 133].

Тем не менее французская армия оказалась не до конца модернизирована даже в эпоху Людовика XIV. Если логистика стала новой, то комплектация оставалась старой. Большая часть солдат представляла собой волонтеров, причем примерно на 20 % иностранцев. Недостатком такой комплектации было то, что волонтерами люди часто становились из-за отсутствия работы или даже из-за криминального прошлого, что снижало качественный уровень армии [Parker 1996: 46–49].

На этом фоне важно обратить внимание на радикальную трансформацию шведской армии, происходившую в последней четверти XVII века. «В ходе Тридцатилетней войны Швеция (и Дания) полагалась главным образом на наемников, но позднее, в XVII веке, с повышением требований к войскам переходит к национальному призыву на военную службу. Карл XI (1672–1697) сам совершил государственный переворот, отняв у магнатов земли короны, которые его предшественники продавали (для оплаты своих войн), и затем раздал эти земли главным образом временным солдатам, так что те для получения средств к существованию должны были нести военную службу. К 1708 г. Швеция и Финляндия (бывшая тогда шведской провинцией) держали под ружьем

111 000 человек, притом что в целом население составляло примерно 2 млн» [Тилли 2009: 200–201].

Шведские историки, в отличие от Чарльза Тилли, прослеживают еще более глубокие корни национальной рекрутской системы. По их данным, уже при Густаве II Адольфе, т. е. в годы Тридцатилетней войны, классические наемники составляли лишь офицерский корпус и конницу, тогда как солдаты в пехоту набирались с помощью воинской повинности<sup>17</sup>. Десять крестьян давали королю одного солдата<sup>18</sup>. В дальнейшем система укреплялась путем подготовки этих рекрутов в мирное время. Раздавать таким солдатам землю, чтобы им было с чего кормиться, пытался еще Карл X Густав после окончания Тридцатилетней войны. Он беспощадно конфисковывал у дворянства те имения, которые недавно еще щедро жаловались им короной. Но в условиях новых военных конфликтов этот процесс был приостановлен. Позднее Карл XI, проводивший сравнительно миролюбивую политику, использовал отсутствие войн для «наезда» на дворянство, укрепления режима личной власти и значительного расширения земельного фонда государства<sup>19</sup>, который мог использоваться для раздачи. Благодаря военно-экономической реформе Карла XI тысячи крестьян получили землю, т. е. ту базу, на которой могли готовиться к службе. Теперь объединенные в так называемые «роты» крестьянские дворы должны были выставлять одного солдата, причем заранее обученного и натренированного. Летом эти «призывни-

---

<sup>17</sup> По всей видимости, это справедливо лишь для начального периода участия шведской армии в Тридцатилетней войне, когда Густав II Адольф лишь прибыл со своей армией в Германию. В дальнейшем благодаря большому притоку денег, выплачиваемых Францией шведам в качестве поддержки [Ивонин, Ходин 2010: 64], и благодаря огромной военной добыче, собираемой с германских земель (контрибуции и грабеж), армия расширялась за счет наемников, доля которых, возможно, доходила до 80 % численного состава [Кеннеди 2018: 114–115]. В начале 1631 г. к высадившимся в Северной Германии 43 тыс. шведов добавилось 36 тыс. немцев и 10 тыс. шотландцев. Король, естественно, хорошо представлял себе, что рекрутов-шведов ему не хватит для большой войны: понадобятся деньги, контрибуции и откровенный грабеж. С самого начала его лозунг гласил: война должна кормить сама себя. В одном только захваченном шведами Аугсбурге епископ и семья банкиров Фуггеров выплатили 700 тыс. гульденов [Parrot 2012: 127–128].

<sup>18</sup> По другим данным, первая обязательная воинская служба появилась раньше — при Карле IX на рубеже XVI–XVII веков [Parker 1996: 52] или даже в 1544 г. при Густаве I [Андерсон 2010: 171].

<sup>19</sup> 80 % всех отчужденных поместий вернулись монархии без компенсации [Андерсон 2010: 176].

ки» проходили специальную военную подготовку, тогда как «рота» обзывалась все это время обрабатывать оставшийся без работника земельный надел<sup>20</sup>. То же самое она была вынуждена делать в случае ухода солдата на войну. Таким образом, Карлу XI удалось разрешить вековую проблему: как при наличии большого земельного пространства, но при плохом финансовом состоянии государства готовить дисциплинированных профессиональных солдат, обладающих навыками коллективных действий под руководством командира [Мелин, Юханссон, Хеденборг 2002: 104, 119, 128, 133; История Европы 1994: 165].

На первый взгляд, кажется, будто принципом службы за землю шведская рекрутская система несколько напоминает малоэффективную войсковую поместную систему, созданную в Московии XV–XVI столетий. Однако на деле сформированный в Швеции конца XVII века бюрократический механизм организации и контроля устранил возможные недостатки поместной армии. Рекруты не только готовились к службе заранее, но и предельно быстро мобилизовывались. План мобилизации включал точки сбора каждой роты у кирхи в соответствующем селе, маршруты передвижения рот в места формирования полков, точный расчет расстояния и времени, необходимого для прибытия всей армии в конечный пункт. При этом передвижения осуществлялись под руководством командиров, знающих каждого солдата, и при наличии двухнедельного пищевого пайка [Григорьев 2006: 74–75].

Трансформировалась в Швеции и налоговая система. Еще в 1624 г. появился единый поземельный налог, взимаемый на основе тщательно составленного кадастра. Помимо прямого налога, введены были еще и новые акцизы. Налегало государство также на эмиссию медных денег. В итоге с 1623 по 1632 г. доходы выросли примерно в 2,5 раза [Нефедов 2013: 59–61]. Кроме того, при Густаве II Адольфе для ведения войны были взяты огромные голландские кредиты под залог богатых железорудных и меднорудных месторождений Швеции [Андерсон 2010: 172].

Ко временам Карла XI Швеция являла собой образец военной монархии, в которой неограниченная власть короля сочеталась с максимальной мобилизацией ресурсов, твердой военной дисциплиной и эффективной работой бюрократии [Нефедов 2014, № 1: 39]. Успехи Карла XII на первых этапах Северной войны определялись теми реформами, которые провели Густав II Адольф и Карл XI. Тем не менее закрепить боевой

---

<sup>20</sup> «Призывником» мог быть и просто безземельный батрак, которого крестьяне кормили, пока он «воевал» [Нефедов 2014, № 1: 37].

успех шведская армия не могла, поскольку рекрутская система не способна была решить проблемы долгосрочного финансирования боевых действий. Швеция оставалась экономическим карликом, пытаясь стать при этом военным гигантом. «Ее объем внешней торговли был ничтожно мал на фоне республики Соединенных провинций Нидерландов или Англии, а государственные расходы составляли еще пятидесятую часть того, что тратила Франция. При столь скудной материальной базе и отсутствии доступа к заграничным колониям у Швеции практически не было шансов на сохранение военного господства» [Кеннеди 2018: 117].

Если в Тридцатилетнюю войну Густав II Адольф получал денежную поддержку от Франции, то в Северную — Карл XII выступал в одиночку против четырех сильных держав — России, Польши, Саксонии и Дании (а под конец войны еще и против Пруссии, Ганновера и английской эскадры), не имея финансовых ресурсов, держа армию без достаточного провианта и надлежащей амуниции, а потому вынуждая прибегать в той или иной форме к изъятиям у местных жителей [Григорьев 2006: 107, 114–115, 153, 157, 162, 165]. Когда Карл, углубившись в украинские земли, потерял возможность кормиться за счет богатого европейского населения, его армия оказалась в глубоком кризисе, что стало одной из причин разгрома под Полтавой.

Через 15 лет после гибели Карла XII, в 1733 г., прусский король Фридрих-Вильгельм I (внук и тезка Великого курфюрста Бранденбургского) осуществил качественный скачок в деле построения армии на новой бюрократической основе: впервые в мире он ввел всеобщую воинскую повинность для мужчин от 18 до 40 лет. Не подлежали призыву лишь дворянские дети (но они и так в подавляющем большинстве служили в армии офицерами) и все те, кто так или иначе поднимал национальную экономику, — богатые люди (они определялись как крестьяне-землевладельцы и собственники городских домов), а также разнообразные мастера, ремесленники и рабочие мануфактур [Фенор 2004: 154, 156]. Исключений, как видим, было довольно много, но все они подчинялись общей логике — каждый житель Пруссии работает на армию: либо в качестве солдата, либо — «труженика тыла».

Как сказал в эпоху правления Фридриха Великого английский посол Хью Эллиот, «прусская монархия напоминает большую тюрьму, в центре которой находится начальник, заботящийся о своих пленниках» [Rosenberg 1958: 41]. А где-то на рубеже XVIII–XIX веков министр фон Шрёттер выдал афоризм, ставший с тех пор широко известным: «Пруссия — это не государство с армией, а армия с государством, используемым для управления и снаб-

жения» [Ibid.: 40]. Выстроить подобную армию оказалось возможно только благодаря бюрократическому государству, какого раньше никогда не существовало. Чтобы система призыва и подготовки солдат реально работала, необходимо было включить большую организационную машину. Ничего подобного раньше не могли создать ни феодальное общество Западной Европы, ни поместная система Московии, ни ренессансные города-государства.

Не следует думать, будто немцы были выдающимися по своим способностям администраторами и Пруссия обладала «веберовской бюрократией» буквально с самого начала. Если «послушать» Фридриха-Вильгельма I, то «вассалы», из которых он формировал бюрократию, были «тупыми баранами, при этом зловредными, как дьяволы», которые «пьют как звери, но больше ничего не умеют делать» [Ibid.: 58–59]. Тем не менее с годами юнкерство, пошедшее на государственную службу, трансформировалось, создав четко работающую государственную машину.

Всеобщая воинская повинность сопровождалась введением так называемого Кантонального регламента. Вся страна была разбита на кантоны, в каждом из которых имелся командир роты или батальона, набравший рекрутов. Если раньше рекрутский набор сопровождался переманиванием солдат командирами друг у друга, то теперь каждый начальник имел собственное «поле», которое должен был хорошо знать и использовать в интересах государства [Фенор 2004: 141, 155].

Система, как видим, была похожа на ту, что сформировалась полувеком раньше в Швеции при Карле XI. Но Пруссия была побогаче, а потому возможности расширения армии оказались побольше и бюрократизация помасштабнее. Фридрих-Вильгельм I собирал налоги, пополнял казну и тратил бюджетные деньги на солдат, тогда как Карл XI возлагал бремя содержания рекрута на крестьянскую общину. Когда прусский король пришел к власти в 1713 г., на армию тратилось 2,4 млн талеров, но уже к 1740 г. эти расходы возросли вдвое — до 4,8 млн. Численность армии составляла в начале правления 30 тыс. человек, а к концу дошла до 75–80 тыс. и даже более. В Европе она была, очевидно, лучшей по качеству подготовки солдат, а по размеру занимала четвертое место после армий Франции (150 тыс.), России (130 тыс.) и Австрии (100 тыс.). При этом по численности населения Пруссия занимала лишь тринадцатое место [Фенор 2004: 140, 157; Dill 1961: 48]. Зато по налоговому бремени, возложенному на население, — первое. Фридрих II в 1750-х гг. брал себе примерно треть национального продукта Пруссии [Кревельд 2006: 192].

Как и в Швеции, главную роль играли при построении прусской армии военные учения. Лишь на три месяца (апрель, май, июнь) она

достигала своего полного состава, а затем ее частично распускали. Крестьяне отправлялись по домам, чтобы заняться сельхозработами [Фенор 2004: 157–158]. При этом в случае мобилизации король мог быстро довести размер своего войска до максимума, причем оно состояло из хорошо обученных и знающих свои задачи людей.

В Пруссии все строилось на том, что каждое действие осуществлялось в нужное время и в нужном месте. Это позволяло с максимальной выгодой использовать ограниченные ресурсы в интересах государства. Хаотичность управления считалась серьезным недостатком. Недаром Фридрих Великий (сын Фридриха-Вильгельма I) говаривал про своего австрийского «коллегу» Иосифа II Габсбурга, что тот — «человек с головой; он мог бы многое произвести, но жаль, что всегда делает второй шаг прежде первого» [Кони 1997: 478].

В Пруссии, как и в других европейских армиях XVII–XVIII веков, не исчезли наемники, составлявшие основу армий эпохи кондотьеров. Иногда их численность могла даже превышать численность рекрутов. Происходило это обычно тогда, когда монархам подваливало финансовое счастье. Например, шведский король Карл XII резко увеличил размер своей армии за счет немцев, когда получил контрибуции от саксонского курфюрста Августа Сильного. Но при любом числе и любом происхождении наемников они теперь лишь дополняли национальное ядро, задолго до войны составлявшееся из собственных солдат, хорошо подготовленных на учениях, разделенных на роты, и умеющих слушаться командира [Брауэр, Туйль 2016: 215–217; Григорьев 2006: 222].

Если в эпоху кондотьеров наемники, в отличие от городских и земских ополчений, считались сравнительно квалифицированными солдатами, поскольку воевали они всегда и им не приходилось сочетать битвы с пахотой [Травин 2015], то в Новое время все принципиально изменилось. По мере усиления артиллерии армии переставали ходить единым строем под руководством главного полководца, поскольку в таком виде они представляли собой слишком удобную мишень для пушек противника. Знаменитая испанская терция, созданная еще Великим Капитаном Гонсало де Кордоба на рубеже XV–XVI веков, состоящая из непрерывно стреляющих мушкетеров и ошетилившаяся пиками против заходящей с флангов кавалерии противника, постепенно исчезла из европейских армий. Войска теперь надо было делить на отдельные мобильные группы, способные под руководством офицеров действовать самостоятельно в рамках единого плана сражения.

Новая тактика появилась еще в годы нидерландской революции благодаря принцу Морицу Нассау (Оранскому). Когда в 1600 г. он сумел

победить при Ньюпорте, казалось бы, непобедимых испанцев, интерес к его достижениям стали проявлять соседние страны — и в первую очередь Швеция. А в середине XVII века голландских и шведских инструкторов использовал Великий курфюрст [Нефедов 2013: 57, 62].

Тактика закрепились в Тридцатилетнюю войну благодаря шведскому королю Густаву II Адольфу, у которого служил один из выпускников военной академии, созданной Оранским. Принц Мориц, в частности, требовал от солдат быстрого перестроения в бою. Передние шеренги, отстрелявшись по врагу, организовано уходили назад для перезарядки мушкета, тогда как следующие за ними продолжали стрельбу, обеспечивая непрерывность огня. Понятно, что подобного взаимодействия не могли бы достичь без предварительных учений наемники эпохи кондотьеров, набранные на малый срок под конкретную войну из случайных людей разной национальности. По-настоящему хорошо подготовленными в новых условиях могли считаться лишь войска, прошедшие долгие тренировки и обладающие взаимопониманием. К XVIII веку среди генералов сформировалось представление, что хороший батальон надо готовить четыре года. Правильно обученный солдат стал теперь представлять значительно большую ценность, чем раньше, а потому государство в обязательном порядке должно было содержать его за свой счет в мирное время, лишая соблазна перейти на службу к непосредственному противнику. Иметь такие дорогостоящие войска могло лишь сильное государство, регулярно собирающее налоги, тщательно аккумулирующее информацию, постоянно финансирующее армию и обладающее многочисленной бюрократией — как штатской (для организации финансов), так и военной (для муштры рекрутов) [Брауэр, Туйль 2016: 218–260; Мак-Нил 2008: 152–159].

Если именно такое государство было нужно армии, то, значит, можно сказать, что армия в первую очередь и создала государство Нового времени. Потребности армии стимулировали качественный переход к новому состоянию, давший очень болезненно всем прошедшим через него странам. «Военная логика обеспечила военно-налоговую поддержку власти государств, — отмечал исторический социолог Майкл Манн. — Это происходило параллельно расширению торговли. Именно эта комбинация военной/политической и экономической сетей власти привела к увеличению общей роли государств» [Манн 2018: 705].

Вряд ли можно сказать, что у европейцев XVII–XVIII столетий был выбор: строить или не строить такое большое, милитаризованное государство. Вряд ли мы можем сегодня, глядя в прошлое из миролюбивого

XXI века, разделить державы на правильные и неправильные, на тех, кто думал о масле, и тех, кто думал о пушках. Даже не вдаваясь в такие «тонкости», как отсутствие в ту эпоху представлений о социальном государстве, наполняющем маслом погреба подданных, мы можем сказать, что правитель, не задумывавшийся о пушках и не облагающий ради них свой народ фискальным бременем, оказывался на европейском театре военных действий неконкурентоспособен. Это не значит, что его государство обязательно должно было исчезнуть с карты Европы, как, скажем, исчезла в XVIII веке Польша. Малые государства могли сохраниться. Но лишь благодаря тому балансу сил, который стремились поддерживать великие державы, противодействующие друг другу. «Каждое государство имело свои особенности, но всеобщий паттерн был очевиден. Государство, которое хотело выжить, обязано было увеличить свои способности по изъятию ресурсов с определенных территорий, чтобы обзавестись призывной и профессиональной армией или флотом» [там же: 683].

Более того, можно сказать, что армия не только вынуждала правителей создавать большое бюрократическое государство. Она в каком-то смысле послужила для него образцом. Если удалось создать армию, в которой десятки тысяч людей ходят, скачут, стреляют, заряжают и копают траншеи, подчиняясь команде и соблюдая при этом абсолютную точность во времени, то почему бы не сформировать подобным образом все общество? Почему бы не заставить миллионы подданных жить, трудиться и мыслить единообразно? Почему бы не превратить людей, от которых вчера еще правителям нужны были только налоги, в маленькие винтики огромной государственной машины, отдающей державе все силы без остатка? Европейские монархи обнаружили, что «постоянная муштра способна сделать из отбросов городского общества и сыновей нищих крестьян буквально новых людей» [Мак-Нил 2008: 163]. Так возникла одна из первых великих утопических идеологий.

## **Великий Петр был первый большевик?**

Сохраняющиеся у нас в стране порой представления о больших европейских свободах и о цивилизованности эпохи абсолютизма, качественно отличающихся от дикости и тирании российского самодержавия, вряд ли соответствуют фактам. Справедлив вывод, сделанный крупным американским историком Полом Кеннеди: «Принуждение под-



данных выплачивать дополнительные налоги, выбивание “пожертвованных” у состоятельных граждан и Церкви, переговоры с банкирами и поставщиками военного снаряжения, организация захватов иностранных кораблей с богатствами, а также удержание многочисленных кредиторов на безопасном от себя расстоянии — вот лишь часть того, чем более или менее постоянно приходилось заниматься монархам и их чиновникам того времени» [Кеннеди 2018: 125].

При этом в Европе сохранялись различия между отдельными странами, связанные со спецификой их исторического пути. Хотя у нас любят противопоставлять Россию Европе, взятой в целом, и утверждают, будто по многим параметрам мы расходимся [подробнее см. Травин 2018а], ведущие западные специалисты по исторической социологии проводят совершенно иные сравнения, опираясь на конкретный анализ фактов. Так, например, Чарльз Тилли, как ни парадоксально, сводил в одну группу европейских стран Россию, Швецию и Бранденбург<sup>21</sup>, поскольку именно эти три государства при общей своей бедности опирались в деле строительства армии на интенсивное принуждение населения, тогда как более богатые страны — на капитал или на сочетание капитала с принуждением [Тилли 2009: 61–62, 105].

В целом это, наверное, правильный подход. Тем не менее надо отметить, что, делая упор на принуждение, Россия и Швеция в некоторых моментах различались. Карл XI смог осуществить изъятие и перераспределение земель во многом потому, что крестьяне были представлены в шведском риксдаге и неоднократно требовали решить соответствующим образом земельный вопрос вместо того, чтобы платить высокие налоги, необходимые для содержания армии за деньги [Кан 1974: 198–199, 233]. Шведская конфигурация групп интересов в ходе военной реформы существенно отличалась как от российской, так и от прусско-бранденбургской.

Попробуем теперь вернуться к оценке событий, происходивших в России XVII–XVIII столетий, сравнивая нашу страну не с мифическим Западом, конструируемым из некоторых современных преставлений о нем, а с тем реальным, который был проанализирован в предыдущих разделах этого доклада.

---

<sup>21</sup> Любопытно, что некоторые немецкие авторы XIX века (как впоследствии русские) жестко противопоставляли свою национальную историю французской, утверждая, будто абсолютизм — это явление, свойственное романским народам, тогда как для германской расы характерна свобода личности. И именно этим объясняется ненависть романизма к германизму [Шерр 2005: 5–12].

«Россия развивалась асинхронно сравнительно с другими европейскими странами, — подчеркивает историк Борис Миронов. — Вследствие чего то, что исследователи, лишённые понятия историзма, называют недостатками, а некоторые и пороками российской политической и социальной системы, национального характера или, наоборот, достоинствами, — не более и не менее, как болезни роста и стадии развития. При сравнении с более зрелыми обществами многие особенности кажутся недостатками, а при сравнении с более молодыми — достоинствами» [Миронов 2015, т. 3: 621–622]. В частности, те радикальные преобразования финансов и государственной администрации, которые во Франции активно шли на протяжении всего XVII века, а во второй его половине были восприняты Пруссией, Швецией и некоторыми другими государствами, желавшими иметь сильные армии, Россия стала осуществлять в XVIII столетии. Естественно, со спецификой, вытекающей из российского исторического пути, поскольку ни одна страна не может, обнаружив за рубежом интересный опыт, начать свою историю с чистого листа.

Преобразования XVII–XVIII столетий в России определялись необходимостью реагировать на то, как развиваются западные страны — прежде всего в военной сфере, а также, естественно, в области финансов и государственного строительства, поскольку от наличия денег и от эффективной бюрократии во многом зависела боеспособность армии. Вопрос стоял жестко: либо инновации и борьба, либо автаркия и заведомый проигрыш [Алексеева, Редин, Рей 2016: 10–11].

Потребность в переменах становилась очевидной уже в ходе войн, которые Россия вела с Польшей в XVII веке, но особенно сильно она проявилась после поражения Петра под Нарвой от шведов. В дискуссиях о причинах петровских реформ [Баггер 1985: 27–33], бесспорно, следует обратить внимание на точку зрения тех авторов, которые подчеркивают роль внешнего вызова. Историк и политик Павел Милуков, например, подчеркивал, что всю первую половину своего царствования Петр стремился победить неприятеля и лишь во второй занялся государственными реформами [Милуков 1995: 160]. Иными словами, Петр занялся реформами лишь тогда, когда убедился, что без них ему не решить военных задач. А вот с выраженной Михаилом Покровским марксистской точкой зрения, согласно которой Петр якобы действовал в интересах торгового капитализма [Покровский 2005: 158, 176–177], вряд ли можно согласиться. Логика его действий была прямо противоположной: торговля, промышленность и бюрократия служили финансам, а те слу-

жили армии, от эффективности которой зависело само существование государства. Пример Польши, утратившей государственность в XVIII веке из-за слабости армии, недостатка денег и неспособности власти принимать необходимые решения, наглядно демонстрирует, чего могли бояться любые правители XVII–XVIII веков, не исключая русских.

До нарвского конфуза Петр широко использовал при формировании войска не только «даточных», но и «вольницу», ориентируясь в основном на австрийско-саксонскую практику [Нефедов 2014, № 5: 52–53; Ростунов 1987: 35]. Но с 1705 г. Россия строит армию исключительно на рекрутских наборах, введя систему, в общих чертах напоминающую шведскую. Один рекрут должен был поставляться с 20 крестьянских дворов, причем мужики оказались связаны круговой порукой на случай, если будущий солдат вдруг сбежит. Эти же 20 дворов должны были обеспечить экипировку солдата [Анисимов 1989: 104–105, 135].

Хотя часть финансового бремени государство свалило на односельчан рекрута, Петр для решения своих военных задач все же остро нуждался в финансовых ресурсах. Ведь каждого солдата надо было содержать еще много лет после того, как он съест собранные односельчанами припасы и сносит одежду. Надо было обеспечивать вооружение, транспорт, фортификацию. Надо было помогать союзникам. В 1705–1707 гг. ежегодными доходами российская казна покрывала государственные расходы лишь на четыре пятых [Ключевский 1989: 56]. Остальное надо было где-то находить. При этом военные расходы царя постоянно возрастали. Издержки на сухопутную армию у Петра выросли пятикратно за время его царствования, а еще появился к тому же и флот, требующий немало содержания [там же: 63].

Хотя формально Россия представлялась большой и богатой страной, выкачивать деньги из населения было довольно сложно. Отсутствовали необходимые для этого институты — и в первую очередь нормальная налоговая система. Каждый раз, когда нужны были средства, их добывали с большими трудностями. Формируя союз с Польшей против Швеции, Петр обещал королю Августу выплачивать в течение трех лет по сто тысяч рублей [Соловьев 1991: 606]. Но когда в марте 1701 г. от Августа явился генерал-адъютант за деньгами, сразу возникли проблемы. Нормального бюджета не существовало, обязательства не были основаны на реальных государственных доходах. «Взяли в приказах, в ратуше — не достало, взяли в Троицком монастыре 1000 золотых; Преображенского полка поручик Меншиков дал 420 золотых, богатый гость Филатьев дал 10 000 рублей» [там же: 607].

С 1705 г. Петр выплачивал Августу каждый год до окончания войны уже не по сто, а по двести тысяч, да к тому же обещал финансовую поддержку другому своему союзнику — Дании [Соловьев 1993а: 29, 271–272]. И это еще больше напрягало российскую казну, что порождало новые курьезные способы ее пополнения. Например, в 1704 г. велено было все постоянные дворы отписать на государя и затем отдавать на откуп. Владельцы дворов должны были получить справедливую компенсацию [там же: 69], однако ясно, что значительная часть их бывших доходов отошла царю. Похожим образом Петр поступил с монастырями. Отписать их на царя, понятно, нельзя было, поэтому он велел собирать деньги с монастырских вотчин в Монастырский приказ, сократить «персонал», а монахам выплачивать небольшую фиксированную сумму, дополняя дотацию хлебом и дровами [там же: 91, 322]. Петр требовал «денег, как возможно, собирать, понеже деньги суть артерию войны»<sup>22</sup> [там же: 339]. Специально назначенные «прибыльщики» изобретали все новые способы получения доходов — хомутейный сбор, шапочный, сапожный, пчелиный, трубный: всего более 70 мелких поборов [Коломиец 2001: 105]. Пошлина, наложенная Петром на бороду и усы, хорошо всем известна. Но не столь известно, что государство, например, спекулировало дубовыми гробами, монополизировав предварительно их продажу [Соловьев 1993а: 317]. Еще одним источником поступлений стали штрафы, взимаемые с лиц, подающих милостыню [там же: 319]. Монархия не терпела конкурентов в схватке за изъятие денег своих подданных.

Кроме постоянных сборов, были еще и целевые — драгунские, рекрутские, корабельные, а также запросные — на фураж, на провиант. Со временем разовый сбор мог превратиться в постоянный [Коломиец 2001: 113]. Петр отчаянно нуждался в финансовых ресурсах и не гнушался никакими средствами для изыскания денег на войну.

Жаловались на возрастающее фискальное бремя даже архиереи: «Бог знает, что у нас в царстве стало: Украина наша пропала вся от податей, такие подати стали уму непостижны, а теперь и до нашей братии, священников, дошло, начали брать у нас с бань, с пчел, с изб деньги, этого наши прадеды и отцы не знали и не слыхали; никак в нашем царстве государя нет!» [там же: 329]. Но «правильно верующим в Бога» под-

---

<sup>22</sup> Любопытно, что эта фраза практически воспроизводит выражение «финансы — нерв войны», принадлежащее Монкретьену, а затем использованное Ришелье и Кольбером.

данным царя Петра было все же значительно легче, чем раскольникам, поскольку те платили двойную подать [Анисимов 1989: 346].

Естественно, не забывали при Петре о «порче монеты». До десятой доли доходов казна получила подобным образом [Коломиец 2001: 128–129].

Еще одним способом пополнения бюджета должны были стать высокие таможенные пошлины. Однако при Петре их задрали столь высоко, что в условиях слабого государственного контроля на границе резко усилилась контрабанда, и казна недосчиталась даже тех денег, которые могла получить при разумном подходе. В 1731 г. тарифы пришлось снижать [Туган-Барановский 1997: 106].

Целый ряд товаров был вообще взят в казенную торговлю при продаже за рубеж (железо, юфть, пенька, лен, хлеб, смола, воск, парусное полотно и др.). Но делалось это совсем по иным причинам, чем в советской экономике, воспроизводившей монополию внешней торговли, через два столетия после Петра. Никакой идеологии государственного администрирования у царя, в отличие от большевиков, не было. Монополизация использовалась лишь для повышения доходов бюджета. Чиновники сами не продавали товары, а отдавали торговлю на откуп с тем, чтобы государство сразу могло получить кругленькую сумму денег [Анисимов 1989: 127–128].

Даже в тех случаях, когда казалось, будто Петр импортирует с Запада некие фундаментальные институты, на деле это заимствование имело чисто конъюнктурные задачи добычи большого количества денег. «Основной целью образования цехов и гильдий было вовсе не развитие торговли и ремесла, — отмечает крупнейший специалист по петровской эпохе Евгений Анисимов, — а решение сугубо фискальных проблем. Власти стремились, чтобы все городские жители были положены в оклад подушной подати» [Анисимов 2017: 197].

Даже введение майората обосновывалось в первую очередь фискальными целями. Считалось, что, если имущество целиком отходит к старшему сыну, а не делится между всеми, налоги в казну станут лучше поступать, «ибо с большого всегда господин довольнее будет, хоть по малу возьмет» [Соловьев 1993а: 444].

Вытягивание денег из всех возможных источников способствовало не только укреплению военной мощи России, но и расширению коррупции. Любопытно сравнить масштабы дотации польскому королю с масштабами воровства денег из государственной казны. Скажем, в 1706 г. одна лишь небольшая группа псковичей украла пошлин и питейной

прибыли на 90 000 и больше [там же: 313–314]. То есть это была сумма, вполне сопоставимая с той, которую недавно еще получал Август.

Воровство и взяточничество при Петре дошли до самого верха государственной иерархии. За коррупцию казнены были сибирский генерал-губернатор князь Матвей Гагарин и даже обер-фискал Алексей Нестеров, чьи обязанности состояли в борьбе с коррупцией. Прибыльщик Курбатов умер под судом, крупный дипломат Шафиров с плахи отослан в ссылку. Сам Александр Меншиков был уличен в злоупотреблении и должен был платить огромный начет [Соловьев 1993б: 455]. Вверенные его попечению военные в 1724–1727 гг. получили на свои нужды с крестьян 17 млн рублей, а израсходовали на армию лишь 10 млн. Куда делись оставшиеся семь, так и осталось неизвестно [Анисимов 1994: 104].

Про Петра рассказывали следующий случай: как-то раз император, слушая в Сенате дела о казнокрадстве, сказал генерал-прокурору Ягужинскому: «Павел Иванович, напиши тотчас от моего имени указ по всему государству, что всякий вор, который на столько украдет, чего веревка стоит, будет повешен». — «Всемиловейший государь, — отвечал Ягужинский, — разве хочешь ты остаться императором один, без поданных? Мы все ворует, только один больше и приметнее другого». Петр рассмеялся и бросил свое намерение [Петр Великий 2000: 477].

Коррупция, связанная с государственными деньгами, неизбежно порождала коррупцию в иных сферах, прежде всего в системе правосудия, которая должна была разбираться со всевозможными злоупотреблениями. Говорили порой, что жалование судьям вообще можно не платить, поскольку они «люди нескудные, у них немало приношений от приказных дел» [Соловьев 1993б: 480].

После Петра государственная элита сменилась, но нравы остались прежними. При Анне Иоанновне Бирон и его ставленник Шемберг похитили за два года более 400 тыс. рублей из доходов от горнорудного дела [Соловьев 1993в: 482].

Однако, как бы много ни придумывали различных способов найти деньги для армии, серьезное увеличение доходов бюджета могло произойти только в результате радикальной налоговой реформы. Петр провел ее в 1719–1724 гг. Состояла она во введении единого подушного налога и в обеспечении его сбора с помощью армии, которая непосредственно получала средства на свое содержание от плательщиков, благодаря чему минимизировалась вероятность того, что деньги «прилипнут» к рукам сборщиков. Одновременно с проведением налоговой реформы Петр отказался от бюрократической монополии внешней торговли на подавляю-

щее большинство товаров [Анисимов 1982; Анисимов 1989: 265–266, 277–278].

Петр, отмечает Е. Анисимов, «воспользовался основными принципами поселенной системы Швеции, основанной на идее установления непосредственной связи армии с плательщиками, минуя промежуточные звенья финансово-административного аппарата, и на идее содержания солдата на средства определенной группы крестьян» [Анисимов 1982: 57]. Большую роль играли в фискальной области землевладельцы. Из их числа избирались комиссары, которые вместе с военными взимали налоги с крестьян. Но и обычные помещики, не ставшие комиссарами, выполняли важные государственные задачи. «Помещик был теперь не просто владельцем ревизских душ, а нес материальную ответственность за их платежи, был обязан контролировать их поведение, выдавать им паспорта на выход для заработков. Новая система искусственно поддерживала существование крестьянской общины, для того чтобы с помощью традиционной круговой поруки обеспечить выплату податей, отправление повинностей, рекрутский набор, удержание крестьян от побегов» [Анисимов 2017: 212–213]. Не только в деревне, но и в городах тоже фактически сложилась такая система уплаты налогов, при которой богатые платили за бедных и несостоятельных [Анисимов 1989: 336]. Принцип круговой поруки явно напоминал принцип взимания налогов во Франции времен Ришелье.

Обремененная круговой порукой крестьянская община стала стремиться подогнать свои обязанности под реальные производственные возможности. Общинную землю начали перераспределять между семьями в соответствии с числом душ так, чтобы каждый мог платить налог сам за себя. В противном случае богатым семьям пришлось бы тянуть тягло за многодетных, но малоземельных. Передел земли оказался рациональным подходом к решению проблемы, созданной государством, для которого краткосрочные фискальные цели доминировали над долгосрочными задачами модернизации [Миронов 2015, т. 2: 147–149].

Кроме денег, для армии нужны были и товары в натуральном виде, поскольку на слабо развитом рынке периферийной по отношению к Европе страны не все можно было легко купить. Поэтому каждый петровский предприниматель должен был в первую очередь выполнять госзаказ и лишь остаток продукции имел право реализовать «на сторону» [Анисимов 1989: 282]. При этом петровская бюрократия бдительно следила за соблюдением введенных правил.

Для того чтобы налаживать государственные финансы и содержать большую армию, требовалось сформировать новый бюрократический

аппарат, поскольку старая приказная система явно не справлялась с усложняющимися задачами [Анисимов 1997: 95–98]. Как это делать, решали, копируя зарубежные образцы<sup>23</sup>. Справедливо отмечалось, что идеи Петра по организации армии во многом совпадали с идеями шведского короля Густава II Адольфа — выдающегося полководца Тридцатилетней войны [Анисимов 1989: 111–112]. Регламент для коллегий, сменяющих старые приказы, писали на основании шведского устава [Соловьев 1993а: 435, 442]. Внимательно изучалось также французское, английское и венецианское законодательство [там же: 444]. Табель о рангах напоминала прусскую бюрократическую систему [Андерсон 1997: 237]. Однако в наибольшей степени Петр все же обращал внимание на опыт шведов — «такого славного и регулярного народа» [Анисимов 1997: 103]. Как отмечает Е. Анисимов, стремление царя ориентироваться на Швецию (несмотря на ее существенные отличия от России) определялось тем, что в гражданской сфере царю хотелось, как и в военной, опередить своего главного соперника [Анисимов 1995: 20]. При этом персонально Петр больше всего желал походить на Людовика XIV [Андерсон 1997: 133]. И прославляли Петра Великого в аллегориях и художественных изображениях именно по тому образцу, который утвердился во Франции при Людовике Великом [Уортман 2004: 77, 97].

Заметим попутно, что заимствование «европейского опыта» при Петре простиралось даже на те сферы, которые традиционно считаются русскими. Пьянство, самодурство и жестокость Петра часто воспринимаются как признаки нашей дикости. Сам царь, мол, проявлял народный нрав. Но на самом деле нетрудно обнаружить, что учился своим выкрутасам он у тех же людей, у которых учился воевать и строить государство. Началось «обучение» в немецкой слободе у «дебошана» Франца Лефорга. А затем продолжилось по мере знакомства с зарубежными нравами во время путешествий. Отмечая, что разгулье царило и в Англии, и в Речи Посполитой, историк отечественной культуры Александр Панченко делает справедливый вывод: «раньше Петр только слышал, теперь он посмотрел — и утвердился в “шумстве”, поскольку оно вписывалось в программу европеизации» [Панченко 1984: 126].

Даже в буйстве своем русский государь был неоригинален. Вот характерный пример его развлечений. Как-то раз в Дудергофе Петру сказа-

---

<sup>23</sup> Большое число важных иностранных документов, демонстрирующих механизмы государственного устройства, привозилось в Россию, в том числе тайно [Прокопенко 2013: 327].



ли, что «здешний комиссар не переносит венгерского вина и никогда не пьет оное. Царь доставил себе удовольствие, заставив его опорожнить несколько стаканов, что свалило несчастного с ног» [Гордин 2018: 437]. А вот как развлекался Карл XII, когда к нему в Стокгольм приехал герцог гольштейн-готторпский Фридрих III, чтобы жениться на королевской сестре. Неразлучные друзья то устраивали в сеймовом зале охоту на зайца, то отправлялись вечером гулять по городу и бить стекла, то потешались, срывая с людей парики и шляпы, то ломали лавки в церкви и заставляли прихожан молиться стоя. Несколько дней они занимались тем, что отсекали саблями головы баранам и телятам: пол и стены королевских комнат были залиты кровью [Соловьев 1991: 595].

А однажды Карл решил насильно женить своего шута Люксембурга и позабавиться этим. Лишь слезами и мольбами карлик уговорил шведского короля отказаться от своей затеи [Григорьев 2006 484]. Но вот когда Петр решил насильно женить так называемого Князь-Папу Никиту Зотова — знаменитого члена своего Всешутейшего собора, — отговорить царя от этой затеи никому не удалось [Зицер 2008: 122–136].

Буйные петровские реформы приблизили Россию к тому состоянию, в котором находились в XVIII веке ведущие европейские державы. Армия, финансы и госаппарат позволяли Петру вести большую войну. Однако все преобразования были чрезвычайно далеки от модернизации в современном понимании этого слова. Экономике из-за несения военного бремени становилось все тяжелее. Если Людовик XIV, по имеющимся оценкам, тратил на армию 75 % бюджета, то Петр — 85 % [Parker 1996: 62]. В петровскую эпоху налоговый пресс, давящий на крестьянство, сильно увеличился. Отмечались случаи, когда крестьяне для выплаты податей «не только скот и пожитки продают, но и детей закладывают, а иные и врозь бегут»ли [Соловьев 1993б: 562]. При этом недоимки были огромны. С 1720 по 1726 г. они составили 3,5 млн рублей при годовом подушном окладе в 4 млн [Анисимов 1989: 480].

Деструктивность петровской политики, ставящей во главу угла ведение войны, а все остальное подстраивающей под решение основной задачи, была ясна ряду его сподвижников. Поэтому после кончины царя началась корректировка фискальной системы. Инициатором снижения налогового бремени стал Ягужинский. Он, правда, не смог добиться больших результатов. Подушная подать, взимаемая с крестьян, была уменьшена лишь на 5,4 %. По-настоящему значительных результатов можно было бы достичь только при сокращении армии. А это заблокировали военные, в первую очередь глава армейского ведомства Менши-

ков<sup>24</sup> [Анисимов 1994: 81–85]. При Анне Иоанновне Россия снова стала влезать в большие войны и снова стала испытывать острую нехватку денег из-за налоговых недоимок и раздутых военных расходов. «В 1736 г. прибегли к старому средству — выплачивать гражданским чиновникам жалованье сибирскими и китайскими товарами» [Соловьев 1993в: 473].

Помимо Ягужинского, еще одним «либералом» оказался глава коммерц-коллегии Андрей Остерман. Он добился существенного снижения установленных при Петре высоких экспортных пошлин на пряжу [там же: 94]. Дело было в том, что Петр хотел подобным протекционизмом поднять отечественного производителя тканей, но вместо этого подорвал финансовое положение производителей пряжи, чья продукция не имела достаточного спроса внутри страны, а за рубежом, по-видимому, оказалась неконкурентоспособна из-за высоких пошлин.

Хоть Петр и признавал важность экономического развития, его реформы оставили хозяйственную систему России в тяжелом состоянии, поэтому вряд ли можно говорить о деяниях первого русского императора как о модернизации. Но в деле, которое для него было важнейшим — в укреплении военной мощи, — наш государь смог продвинуться вперед и ввел свою державу в число передовых государств. С этой точки зрения Петр Великий оказался на европейском уровне.

## Хотели как лучше...

Как можно в целом оценить итоги реформ армии, финансов и административного устройства в Европе? Скорее всего, бюрократическое государство, возникшее в XVII–XVIII веках, сильно изменило жизнь общества в лучшую сторону, причем поначалу казалось, что сделало оно это без побочных эффектов.

Во-первых, постоянно функционирующие, дисциплинированные армии перестали быть поставщиками бандитов, дезертиров и странствующих рыцарей, которые раньше грабили купцов, как только те выходили за территорию, огражденную городскими стенами. Постепенно стала исчезать проблема вооруженного человека, не знающего, как прокор-

---

<sup>24</sup> Ягужинский, кстати, так ненавидел Меншикова, что, согласно преданию, «ходил в Петропавловский собор жаловаться на обидчика пред гробом Петра» [Соловьев 1993в: 30].

миться в то время, когда его меч не нужен заказчику. Во всяком случае, во Франции после 1680 г., как отмечал Ф. Бродель, безудержного насилия стало значительно меньше, чем раньше [Бродель 1997: 156–157].

Во-вторых, обретение государством реальной монополии на насилие позволило сформировать правоохранительную систему, подавляющую тех преступников, которые сохранялись вне зависимости от трансформации армий. Понятно, что эта система не могла (и по сей день не может) полностью устранить преступность, однако, по крайней мере, «спасение утопающих» перестало быть, как в Средние века, делом одних лишь «утопающих». Государство стало стремиться к защите бизнеса, постепенно осознавая необходимость курицы, несущей золотые яйца.

В-третьих, государство ликвидировало «легальные», если можно так выразиться, способы, которыми бароны-разбойники в Средние века потрошили купечество. Устранялись многочисленные внутригосударственные таможи, на которых владельцы замков, расположенных в узких горных ущельях и по течению судоходных рек, взимали плату с проходящих и проплывающих мимо купцов. Про государство Нового времени можно было сказать словами американского писателя О. Генри, использованными для характеристики героя одного из его рассказов: каждый «доллар» в чужом кармане он воспринимал как личное оскорбление.

Вернер Зомбарт посвятил одну из своих работ обоснованию гипотезы, согласно которой милитаризация государства Нового времени была важнейшим фактором становления капитализма в Европе, поскольку именно военный спрос формировал крупные фирмы и состояния [Зомбарт 2008: кн. 2]. Влияние спроса на рынок, конечно, всегда велико, однако гипотеза Зомбарта не дает ответа на вопрос, почему самые конкурентоспособные капиталы в XVII–XVIII веках появились в Англии и Голландии, где армии были невелики, тогда как в сильно милитаризированной Франции со становлением капитализма дело обстояло хуже, а в Испании — самой сильной стране Европы до середины XVII века — совсем плохо. Думается, гипотеза Зомбарта неверна и ведущую роль в становлении капитализма сыграли институты, обеспечивавшие защиту собственности [Травин 2018б].

Тем не менее в целом надо признать, что мир под воздействием этатизма стал меняться по ряду направлений в лучшую сторону. Однако бюрократизация имела настолько существенные негативные последствия, что вместо одной группы факторов, мешающих развитию экономики, породила другую. Недостаточное внимание к защите бизнеса сменилось

чрезмерным вниманием, связанным как с «пагубной самонадеянностью» всезнающих бюрократов, так и с их личной корыстью.

«Королевский совет, — писал Алексис де Токвиль, — ежегодно издавал общие постановления, предназначенные для всего королевства. <...> Бесчисленны постановления Совета, обязывающие ремесленников использовать определенные методы и изготавливать определенные товары. А поскольку одних интендантов было недостаточно, чтобы наблюдать за исполнением всех этих постановлений, существовали также генеральные инспекторы промышленности, объезжавшие провинции для поддержания там надлежащего порядка» [Токвиль 1997: 38–39]. Современные историки справедливо отмечают, что «контроль правительства затруднял технологические перемены и частично был причиной индустриальной отсталости Франции в сравнении с Англией во времена Людовика XIII. С населением в три раза большим, чем в Англии, Франция имела в три раза меньше шахт и небольших фабрик, только в изготовлении предметов роскоши, таких как шелковые ткани и гобелены, она была впереди» [Кнехт 1997: 277–278].

Но несмотря на создаваемые всем этим проблемы, вплоть до середины XVIII века регламентирующая деятельность французской администрации нарастала. Если до 1683 г. насчитывалось всего 48 регламентов, определяющих работу экономики, то к 1739 г. появляется уже 230 эдиктов, приказов и регламентов. Формально все это делалось во имя разума, дабы научить «несмышленных» производителей той эффективной работе, в которой, как виделось административному уму, разбирается лишь опытный и хорошо образованный бюрократ. Однако интеллектуалы все чаще делали вывод, что разум в области администрирования начинает, скорее, мешать, чем помогать работе. «Нашими современниками овладело безумие, к какому никогда нельзя было считать способным человеческий дух!» — в ужасе восклицал известный деятель французской революции Жан Мари Ролан, писавший статью о промышленности для энциклопедии Дидро и д'Аламбера [цит. по Зомбарт 1931: 381].

Как же конкретно выглядела вся эта картина регламентации?

«Экономическая свобода должна отступить перед тем, что государство считает общим интересом. Одни сельскохозяйственные культуры оно запрещает, другим покровительствует: в 1731 г. Королевский совет отдает распоряжение, чтобы не производилось новых насаждений виноградников в королевстве и чтобы те, которые не обрабатывались в течение двух лет, не восстанавливались без специального разрешения короля под угрозой штрафа в 3000 ливров; разрешение же не будет даваться без

предварительной проверки почвы интендантом с целью установить, не является ли она более благоприятной для какой-нибудь другой культуры. Землевладелец не может собирать винограда или снимать жатвы до решения местного судьи: он не должен косить хлеб под угрозой штрафа, «так как этот способ сбора урожая вреден для общества и для самого земледельца тем, что коса сильно треплет колос и при этом из него высыпаются вполне созревшие зерна». <...> На сено назначается максимальная цена, отдается приказание, чтобы охапки были перевязаны тремя жгутами из сена того же качества, чтобы все связки были хороши, сухи, чисты и имели определенный вес, сообразно с временем года» [Саньяк 1928: 62]. Однако апофеозом административной системы был все же «указ, устанавливающий, что во всем королевстве под страхом штрафа в 300 ливров все обязаны метить своих баранов определенным способом» [Токвиль 1997: 206].

Похожим образом в XVIII веке складывалось дело и в России. Например, Петр I в 1715 г. издал указ о том, как правильно изготавливать юфть, и о том, что тот, кто делает ее неправильно, будет сослан в каторгу и лишен всего имения. А в 1721 г. Петр повелел своему народу снимать хлеб косами вместо серпов [Соловьев 1993а: 457]. Более того, увидел он как-то раз в Прибалтике удобные косы и тут же решил внедрить новшество у себя. Государь насильно собрал десяток местных жителей и разослал их по российским губерниям, чтобы умельцы обучали наших мужиков правильно косить [Анисимов 2017: 215]. «Начиная с Петра I правительство предписывало подданным: из чего строить дома и печи, из какого дерева готовить гробы для покойников, какими орудиями возделывать землю, из каких материалов изготавливать обувь, какого покроя должно быть платье, на скольких лошадях ездить какому чину, по какой модели строить корабли и т. д.» [Миронов 2015, т. 2: 389]. Возможно, отличие России от Франции и других западных государств со значительной армией чиновников состояло лишь в том, что регламентация жизни в большей степени оставалась декларацией и не реализовывалась на практике, с одной стороны, из-за саботажа населения, а с другой — из-за слабости контролирующего государственного аппарата [там же: 390].

Философию этого государственного патернализма лучше всего выразил Петр I в указе 1723 г., но под его словами, наверное, подписались бы и французские дирижисты. «Наш народ, яко дети, не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда научатся, потом

благодарят, что явно из всех нынешних дел не неволею сделано? [Соловьев 1993б: 466–467].

Приказы раздавались, естественно, с самыми благими намерениями. Центральная власть была искренне убеждена в том, что только она знает, как поднять национальную экономику. И для этого не жалели ни усилий, ни финансов. В 1740–1789 гг. французская монархия предоставила беспроцентных кредитов на сумму в 1,3 млн ливров и дотаций на 5 млн. К этому надо еще добавить субвенции местных властей таких провинций, как Бретань и Лангедок [Landes 1969: 135].

Вот еще зарисовка Токвиля, в которой дается характеристика административной идеологии. Королевский совет «ежегодно ассигновал из общих сумм налогов определенные фонды, которые интендант распределял на пособия в приходах. <...> Совет ежегодно издавал постановления, предписывающие открывать в установленных им же самим местах благотворительные мастерские. <...> Центральное правительство не ограничивалось помощью крестьянам в их нуждах; оно пыталось указать им пути к обогащению, а в случае необходимости и понуждать к этому. В этих целях оно время от времени поручало своим интендантам и субделегатам распространять небольшие записки об искусстве земледелия, основывало сельскохозяйственные общества, назначало премии, тратило большие деньги на содержание питомников, плоды деятельности которых раздавались крестьянам. Казалось бы, более целесообразным было бы облегчить бремя повинностей и устранить неравенство в их распределении. Но правительство об этом, похоже, никогда не догадывалось» [Токвиль 1997: 39].

Странно бы было, если бы вдруг догадалось. Ведь в то время во Франции еще не была распространена мысль о плодотворности свободы производителя. Свобода ассоциировалась с хаосом, а вот разум — с порядком и развитием. И поскольку образованный чиновник представлялся лицом более разумным, чем неотесанный крестьянин, государство поощряло действия бюрократии даже тогда, когда они требовали усиливать фискальное бремя, возложенное на народ.

Любая инициатива на местах ставилась под контроль. «К концу XVIII века в глубинке, в самой отдаленной провинции невозможно было создать благотворительные мастерские без того, чтобы генеральный контролер не пожелал бы лично проверить их расходы, определить устав и местоположение. Строится приют для нищих — ему обязательно нужно знать имена получивших в нем прибежище, а также в точности дату поступления в приют и выхода из него» [там же: 54].

Наконец, именно власть «предписывает в определенных случаях проявление всеобщей радости, правительство заставляет устанавливать фейерверки и иллюминировать дома» [там же: 43]. Ведь административная система не просто стремится к оптимальной организации производства. Она хочет наиболее разумным способом наладить всю человеческую жизнь, создать некое гармоничное существо, оптимальным образом работающее и оптимально отдыхающее.

Впрочем, самая главная регламентация относилась все же не к увязке сена, а к торговле хлебом. Если сегодня для нас хлебная торговля является важной, но отнюдь не определяющей всю жизнь сферой, то во Франции XVIII века расходы на хлеб составляли порядка 88 % бюджета низших классов [Фор 1979: 211]. В подобной ситуации регламентация хлебной торговли означала, по сути дела, регламентацию рынка как такового. Именно подмена рыночного регулирования административным имела место в абсолютистской Франции.

Королевские власти априори считали, что всякая торговля сродни спекуляции. Бюрократам, соответственно, представлялось: чем меньше будет у производителей и купцов возможностей для торговли, тем ниже станут цены на хлеб и тем менее напряженными окажутся социальные отношения. В итоге во Франции долгое время были затруднены не только экспорт, но даже перевозка зерна из одной провинции в другую. Государство делало все возможное для того, чтобы хлеб потреблялся там же, где и производился, вне зависимости от плотности населения, плодородия почв и погодных условий, характерных для той или иной части страны. Жители одной провинции могли голодать, в то время как амбары в соседней — ломились от хлеба.

Чтобы люди поменьше торговали, в 1699 г. была введена система лицензирования. Только получив разрешение в суде по месту жительства и принеся установленную законом присягу, купец мог совершать оптовые операции с хлебом. При этом его обязывали осуществлять снабжение именно того региона, к которому он был приписан, а вывоз зерна в другую провинцию требовал уже особого разрешения.

Принимались специальные меры и для того, чтобы ограничить размер капитала, используемого в хлеботорговле. Купцы должны были работать поодиночке и не имели права организовывать товарищества [Афанасьев 1892: 77–78]. От продавца требовали, чтобы он торговал только на общественных рынках, а не у себя дома. Вынеся зерно на рынок, он не имел уже права унести товар обратно и должен был реализовать его самое позднее на третий день (даже если цены были крайне низкими). Наконец,

обслуживание купцов и булочников могло осуществляться лишь после того, как был удовлетворен спрос частных лиц [Фор 1979: 224–225].

Попытки регулировать хлебную торговлю существовали во Франции издавна, но у государства было мало возможностей организовать реальный контроль за ней. Лишь интенсивная бюрократизация XVII–XVIII веков позволила выделить специальных комиссаров для выполнения регламентов. Они появились в 1709 г. и должны были учитывать все хлебные запасы, имеющиеся в стране, а при необходимости обладали правом взламывать двери частных амбаров, несмотря ни на какое право собственности. Если обнаруживались нарушения, хозяин мог быть подвергнут наказанию, вплоть до тюремного заключения [Афанасьев 1892: 4].

Большая власть чиновников, естественно, влекла за собой произвол. Людей наказывали даже за то, что юридически правонарушением не являлось. Например, один купец пострадал из-за того, что в письме, перехваченном властями, советовал компаньону не отправлять хлеб в Париж, где в тот момент падали цены. А некую торговку подвергли штрафу за то, что на рынке она говорила о более низких ценах, установившихся в соседнем городе [там же: 71].

В краткосрочном периоде регламентация могла способствовать поддержанию низких цен, поскольку не позволяла создавать запасы. Но в течение долгого времени эффект был прямо противоположным. Ведь крестьянин и купец, сталкиваясь с системой, вынуждавшей их порой продавать товар себе в убыток, теряли заинтересованность в расширении производства и сбыта. Экономика деградировала, что повышало вероятность голода при неурожае. «Многочисленные отзывы современников весьма категорично заявляют, что порядочные и состоятельные люди чурались хлебной торговли и предпочитали другие отрасли труда, которые были более гарантированы от придирок и произвола полиции» [там же: 70].

Принципиальным отличием французского дворянства от английских джентри, на что обратил внимание американский исследователь Баррингтон Мур [Мур 2016: 51–64, 70–71], стало настороженное отношение к зарабатыванию денег коммерцией. Вместо того чтобы включаться в эффективный бизнес, оно предпочитало выкачивать деньги из крестьянства. И это неудивительно. Ведь если, с одной стороны, государство жестко ограничивает возможности бизнеса и создает при этом чиновничьи должности, дающие их обладателям приемлемый доход без особого труда, а с другой — в обществе сохраняются ментальные стереотипы, согласно которым торговля является презренным делом для аристократа, то трудно ожидать каких-то перемен в поведении. Порой французское



дворянство проявляло предприимчивость, но, скорее, в колониях, где весь мир был устроен по-другому.

Развиваясь подобным образом, Франция двигалась прямо навстречу катастрофе. Огромная дорогостоящая армия, политическое доминирование в Европе и запредельная бюрократизация государства сочетались со слабой эффективностью экономики. «Пока французы и испанцы оспаривают друг у друга города, — отмечал Ф. Бродель, — голландцы и англичане завладевают миром» [Бродель 2004: 394].

Подводя итоги, можно сказать, что французские монархи добились того, чего хотели, и именно этот «успех» проложил дорогу к революции и падению Старого режима.

## Литература

*Адамс Ч.* Влияние налогов на становление цивилизации. М.; Челябинск: Социум, Мысль, 2019.

*Алексеева Е., Редин Д., Рей М.-П.* «Европеизация», «вестернизация» и механизмы адаптации западных нововведений в России имперского периода // Вопросы истории. 2016. № 6.

*Андерсон М.* Петр Великий. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

*Андерсон П.* Родословная абсолютистского государства. М.: Территория будущего, 2010.

*Анисимов Е.* Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России. 1719–1724 гг. Л.: Наука, 1982.

*Анисимов Е.* Время петровских реформ. Л.: Лениздат, 1989.

*Анисимов Е.* Россия без Петра: 1725–1740. СПб.: Лениздат, 1994.

*Анисимов Е.* Шведская модель с русской особостью. Реформа власти и управления при Петре Великом // Реформы и власть. СПб.: Звезда, 1995.

*Анисимов Е.* Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997.

*Анисимов Е.* Петр Первый: благо или зло для России? М.: Новое литературное обозрение, 2017.

*Анотто Г.* Франция до Ришелье. Король, власть и общество в 1614 году. СПб.: Евразия, 2017.

*Афанасьев Г.* Условия хлебной торговли во Франции в XVIII веке. Одесса: Типография В. Кирхнера, 1892.

*Баггер Х.* Реформы Петра Великого. Обзор исследований. М.: Прогресс, 1985.

- Беллок Х.* Ришелье. М.: Алетейя, 2002.
- Бердяев Н.* Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.
- Блюш Ф.* Людовик XIV. М.: Ладомир, 1998.
- Блюш Ф.* Ришелье. М.: Молодая гвардия, 2008.
- Брауэр Ю., Туйль Х. ван.* Замки, битвы, бомбы. Как экономика объясняет военную историю. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.
- Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII веков. Т. 2. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988.
- Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII веков. Т. 3. Время мира. М.: Прогресс, 1992.
- Бродель Ф.* Что такое Франция? Кн. II. Люди и вещи, ч. 2. «Крестьянская экономика» до начала XX века. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1997.
- Бродель Ф.* Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. 2. Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. М.: Языки славянской культуры, 2003.
- Бродель Ф.* Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. 3. События. Политика. Люди. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Валлерстайн И.* Мир-система Модерна. Т. I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015.
- Валлерстайн И.* Мир-система Модерна. Т. II. Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики. 1600–1750. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016.
- Веджвуд С.* Тридцатилетняя война. М.: АСТ, 2013.
- Волков В.* Государство, или Цена порядка. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018.
- Воцелка К.* История Австрии. Культура, общество, политика. М.: Весь мир, 2007.
- Глаголева Е.* Повседневная жизнь Франции в эпоху Ришелье и Людовика XIII. М.: Молодая гвардия, 2007.
- Гордин Я., сост.* Петр I (серия «Государственные деятели России глазами современников»). СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда», 2018.
- Гранин Д.* Вечера с Петром Великим. Сообщения и свидетельства господина М. М.: Центрполиграф, 2005.
- Григорьев Б.* Карл XII, или Пять пуль для короля. М.: Молодая гвардия, 2006.
- Дашкова Е.* Записки. 1743–1810. Л.: Наука, 1985.
- Дешодт Э.* Людовик XIV. М.: Молодая гвардия; Полимпсест, 2011.
- Дюма А.* Три мушкетера. М.; Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1952.

*Зицер Э.* Царство преображения: Священная пародия и царская харизма при дворе Петра Великого. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

*Зомбарт В.* Современный капитализм. Т. 1, полутом 1. М.; Л.: Гос. изд-во, 1931.

*Зомбарт В.* Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М.: Наука, 1994.

*Зомбарт В.* Исследования по истории развития современного капитализма: Роскошь и капитализм. Война и капитализм // Зомбарт В. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. СПб.: Владимир Даль, 2008.

*Ивонин Ю.* Франциск I Валуа // Вопросы истории. 2014. № 4.

*Ивонин Ю., Ходин А.* Густав II Адольф // Вопросы истории. 2010. № 9.

*Иволина Л.* Мазарини. М.: Молодая гвардия, 2007.

*Иволина Л.* Луи II де Бурбон принц Конде // Вопросы истории. 2011. № 3. История Европы. Т. 3. От средневековья к новому времени (конец XV — первая половина XVII в.). М.: Наука, 1993.

История Европы. Т. 4. Европа нового времени (XVII–XVIII века). М.: Наука, 1994.

*Кан А., ред.* История Швеции. М.: Наука, 1974.

*Кеннеди П.* Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 г. Екатеринбург: Гонзо, 2018.

*Ключевский В.* Курс русской истории. Ч. IV // Ключевский В. Сочинения: в 9 т. М.: Мысль, 1989.

*Кнехт Р.* Ришелье. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

*Коломиец А.* Финансовые реформы русских царей. От Ивана Грозного до Александра Освободителя. М.: Редакция журнала «Вопросы экономики», 2001.

*Кони Ф.* Фридрих Великий. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

*Контлер Л.* История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М.: Весь мир, 2002.

*Кревельд М. ван.* Расцвет и упадок государства. М.: ИРИСЭН, 2006.

*Крейг Г.* Немцы. М.: Ладомир, 1999.

*Лависс Э.* Очерки по истории Пруссии. М.: Едиториал УРСС, 2011.

*Лахман Р.* Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени. М.: Территория будущего, 2010.

*Ле Руа Ладюри Э.* История Франции. Королевская Франция. От Людовика XI до Генриха IV. 1460–1610. М.: Международные отношения, 2004.

*Лоблинская А.* Франция в начале XVII века (1610–1620 гг.). Л.: Изд-во Ленинградского государственного университета, 1959.

*Лоблинская А.* Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.; Л.: Наука, 1965.

*Люблинская А.* Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630–1642 гг. Л.: Наука, 1982.

*Мавродин В.* Петр Первый // Мавродин В. Рождение новой России. Л.: Изд-во Ленинградского государственного университета, 1988.

*Мак-Нил У.* В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках. М.: Территория будущего, 2008.

*Малов В.* Кольбер. Абсолютистская бюрократия и французское общество. М.: Наука, 1991.

*Мандру Р.* Франция раннего Нового времени, 1500–1640: Эссе по исторической психологии. М.: Территория будущего, 2010.

*Манн М.* Источники социальной власти. Т. 1. История власти от истоков до 1760 года н. э. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2018.

*Манфред А., ред.* История Франции: в 3 т. Т. 1. М.: Наука, 1972.

*Мелин Я., Юханссон А., Хеденборг С.* История Швеции. М.: Весь мир, 2002.

*Милюков П.* Очерки по истории русской культуры: в 3 т. Т. 3. М.: Прогресс-Культура, 1995.

*Миронов Б.* Российская империя: от традиции к модерну. Т. 2. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015.

*Миронов Б.* Российская империя: от традиции к модерну. Т. 3. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015.

*Митрофанов П.* История Австрии с древнейших времен до 1792 г. М.: КРАСАНД, 2010.

*Мунье Р.* Убийство Генриха IV. 14 мая 1610 года. СПб.: Евразия, 2008.

*Мур Б.* Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016.

*Нефедов С.* Происхождение «регулярного государства» Петра Великого // Вопросы истории. 2013. № 12; 2014. № 1, № 2, № 4, № 5.

*Павленко Н.* Петр Первый. М.: Молодая гвардия, 1975.

*Павленко Н.* Александр Данилович Меншиков. М.: Наука, 1983.

*Панченко А.* Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984.

Петр Великий в преданиях, легендах, анекдотах, сказках, песнях. СПб.: Академический проект, 2000.

*Пинкус С.* 1688. Первая современная революция. М.: АСТ, 2017.

*Питтс Д.* Коррупция при дворе короля-солнце. Взлет и падение Никола Фуке. М.: Олимп-бизнес, 2017.

*Покровский М.* Русская история: в 3 т. Т. 2. М.: АСТ, 2005.

*Поршнев Б.* Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623–1648). М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

*Поршнев Б.* Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII в. М.: Наука, 1970.

*Прокопенко Я.* «Политический инженер»: Генрих фон Фик и феномен реформ Петра I // Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале Нового времени (XVI–XVIII вв.) / ред. М. Кром, Л. Пименова. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.

*Птифис Ж.-К.* Людовик XIV. Слава и испытания. СПб.: Евразия, 2008.

*Ришельё А.-Ж де.* Политическое завещание, или Принципы управления государством. М.: Ладомир, 2008.

*Ростунов И., ред.* История Северной войны, 1700–1721 гг. М.: Наука, 1987.

*Саньяк Ф.* Гражданское законодательство Французской революции (1789–1804). М.: Изд-во коммунистической академии, 1928.

*Соловьев С.* Публичные чтения о Петре Великом. М.: Наука, 1984.

*Соловьев С.* История России с древнейших времен. Т. 13–14 // Соловьев С. Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. VII. М.: Мысль, 1991.

*Соловьев С.* История России с древнейших времен. Т. 15–16 // Соловьев С. Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. VIII. М.: Мысль, 1993а.

*Соловьев С.* История России с древнейших времен. Т. 17–18 // Соловьев С. Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. IX. М.: Мысль, 1993б.

*Соловьев С.* История России с древнейших времен. Т. 19–20 // Соловьев С. Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. X. М.: Мысль, 1993в.

*Талёв Н.* Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: Колибри, 2015.

*Тилли Ч.* Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1992 гг. М.: Территория будущего, 2009.

*Токвиль А. де.* Старый порядок и революция. М.: Московский философский фонд, 1997.

*Травин Д.* У истоков модернизации. Россия на европейском фоне (доклад второй). Препринт М-31/13. Центр исследований модернизации. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.

*Травин Д.* У истоков модернизации. Россия на европейском фоне (доклад третий). Препринт М-38/14. Центр исследований модернизации. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014.

*Травин Д.* У истоков модернизации. Россия на европейском фоне (доклад четвертый). Препринт М-45/15. Центр исследований модернизации. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.

*Травин Д.* Модернизация и реформация. Препринт М-60/17. Центр исследований модернизации. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017.

*Травин Д.* «Особый путь» России: от Достоевского до Кончаловского. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018а.

*Травин Д.* Англия: история успеха (Россия Нового времени: выбор варианта модернизации. Доклад 1). Препринт М-67/18. Центр исследований модернизации. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018б.

*Травин Д.* Загадки модернизации // Загадки модернизации: сборник статей. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019.

*Травин Д., Маргания О.* Европейская модернизация: в 2 кн. М.; СПб.: АСТ; Terra Fantastica, 2004.

*Травин Д., Маргания О.* Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. М.; СПб.: АСТ, Астрель; Terra Fantastica, 2011.

*Туган-Барановский М.* Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историческое развитие русской фабрики в XIX веке. М.: Наука, 1997.

*Уваров П.* Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам. М.: Наука, 2004.

*Уваров П.* Проекты преобразований во Франции в период правления Генриха II (1547–1559) // Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале Нового времени (XVI–XVIII вв.) / ред. М. Кром, Л. Пименова. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.

*Уртман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. От Петра Великого до смерти Николая I. М.: ОГИ, 2004.

*Усанов П.* Ретроспектива экономической мысли. СПб.: Страта, 2019.

*Фавье Ж.* Столетняя война. СПб.: Евразия, 2009.

*Фенор В.* Фридрих-Вильгельм I. М.: АСТ; Транзиткнига, 2004.

*Фор Э.* Опала Тюрго. 12 мая 1776 г. М.: Прогресс, 1979.

*Фукуяма Ф.* Государственный порядок. М.: АСТ, 2015.

*Хеншелл Н.* Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени. СПб.: Алетейя, 2003.

*Черкасов П.* Кардинал Ришелье. Портрет государственного деятеля. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

*Шерр И.* Германия. История цивилизации за 2000 лет: в 2 т. Т. 2. Минск: МФЦП, 2005.

*Шоню П.* Цивилизация классической Европы. Екатеринбург; М.: У-Фактория; АСТ, 2005.

*Шоню П.* Цивилизация просвещения. Екатеринбург; М.: У-Фактория; АСТ, 2008.

*Ardant G.* Financial Policy and Economy Infrastructure of Modern States and Nations // The Formation of National States in Western Europe / ed. Ch. Tilly. Princeton: Princeton University Press, 1975.

*Barracrough G.* The Origins of Modern Germany. Oxford: Basil Blackwell, 1947.

*Bergin J.* Cardinal Richelieu. Power and the pursuit of wealth. New Haven; London: Yale University Press, 1985.

*Büsch O.* Military System and Social Life in Old Regime Prussia, 1713–1807: the Beginnings of Social Militarization of Prusso-German Society. Boston: Humanistic Press, 1997.

*Clark Ch.* Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prussia. 1600–1947. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2006.

*Craig G.* The Politics of the Prussian Army. 1640–1945. New York: Oxford University Press, 1964.

*Dill M.* Germany. A Modern History. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1961.

*Duff C.* The Army of Frederick the Great. New York: Hippociene Books, 1974.

*Elliott J.* Richelieu and Olivares. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

*Fay S., Epstein K.* The Rise of Brandenburg-Prussia to 1786. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1964.

*Finer S.* State- and Nation-Building in Europe: The Role of the Military // The Formation of National States in Western Europe / ed. Ch. Tilly. Princeton: Princeton University Press, 1975.

*Hagen W.* Ordinary Prussians. Brandenburg Junkers and Villagers, 1500–1840. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

*Ingrao Ch.* The Habsburg Monarchy. 1618–1815. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

*Kann R.* A History of the Habsburg Empire. 1526–1918. Berkeley: University of California Press, 1980.

*Landes D.* The Unbound Prometheus. Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

*Parker G.* The Military Revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500–1800. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

*Parrott D.* The Business of War. Military Enterprise and Military Revolution in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

*Potter M.* Corps and Clienteles. Public Finance and Political Changes in France, 1688–1715. Hampshire: Ashgate, 2003.

*Rosenberg H.* Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy: The Prussian Experience 1660–1815. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958.

*Treasure G.* Mazarin. The Crisis of Absolutism in France. London; New York: Routledge, 1995.

*Дмитрий Травин*

**Франция: успешная страна на пути к провалу  
(Россия Нового времени: выбор варианта модернизации.  
Доклад 2)**

Препринт М-74/19

В авторской редакции

Корректор — Д. Капитонов

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге  
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 6/1А  
books@eu.spb.ru

Подписано в печать 21.10.19.  
Формат 60x88 1/16. Тираж 50 экз.